

3

Popolo

Solo

ФОТО

СОЛО

**ПРОЗА
ПОЭЗИЯ
ЭССЕ**

МОСКВА 1991

Р е д к о л л е г и я :

Андрей Битов, Александр Михайлов, Евгений Попов

Литературно-художественный журнал
"СОЛО"

Редактор *А. Михайлов*
Художник *И. Белогорлов*

Сдано в набор 14.01.91 Подписано в печать **12.05.91**.
Формат 60 x 90 1/16. Офсетная печать. Усл.печ.л. 6,0
Усл. кр.-отт. 6,25. Учетно-изд.л. 6,1. Тираж **20 000** экз.
Заказ **444** Цена 3 руб.

Адрес редакции: 101000 г. Москва, ул. Кирова, 40,
производственно-коммерческий кооператив "Аюрведа".

Содержание

От редактора	4
НОВЫЕ ТЕКСТЫ	
Александр Шарыпов	
Клопы	6
Овдин	10
Штаны	11
Иван Ахметьев. Стихи	14
Аркадий Бартов. Недолгое знакомство Ивана Васильевича Мерзлякова и Антонины Ивановны Тупоухиной (венок сонетов)	17
Евгений Лапутин. Лица птиц	25
Георгий Юдин	
Москва-Харьков	45
Ненависть	47
Без названия	49
Руслан Марсович. Чужой суд	51
Юрий Богорад. Самсон	56
Вл. Ежов. Из повести "Кинорежиссер"	62
МОНОЛОГИ	
Леонид Костюков. Об американской культуре	93

ОТ РЕДАКТОРА

У вас в руках третий выпуск альманаха. До сих пор он выходил от случая к случаю, нерегулярно. Теперь же, это издание зарегистрировано как журнал и с 1991 года будет, мы надеемся, выходить в свет каждые два месяца. Для редколлегии и для авторов это – событие. Хочется верить, что для читателей – тоже.

А началось все с прожектов. Хорошо бы, думал я, напечатать когда-нибудь весь "непроходняк", те вещи, которые за время моего сидения в "толстом" журнале так и не удалось опубликовать, причем из-за цензуры главным образом эстетической. Но всемогущие издатели-кооператоры, к которым я обращался, сразу смекали, что на новых, никому еще не известных авторах большие "бабки" не сделаешь, и все, как один, отказывались. Ну, Саша Соколов или Д.А. Пригов – этих еще можно продать, но вот какой-то там Гаврилов ("Соло" № 1) или Клевх (№ 2)... Нет, не пойдут.

Я же, увлекаясь, говорил, что именно из-за них, из-за этих вот никому сегодня не известных авторов, вы все завтра передеретесь. Это же будущий цвет, элита нашей отечественной словесности!

Впрочем мой несоразмерный с обстоятельствами возвышенный порыв неизменно уходил в песок, пока я не встретился волею случая с людьми из кооператива "Аюрведа". Они вызывали симпатию уже тем, что кроме детективов и фантастики, столь любимых народом, напечатали впервые без каких-либо купюр бессмертную поэму Вен. Ерофеева "Москва-Петушки", а также участвовали в издании забавной театрально-студийной газеты "Афиша", где печатали стихи концептуалистов, абсурдистов и куртуазнейших маньеристов, которых тогда еще не печатал никто.

Произошел контакт. И через несколько месяцев на свет появился неуклюжий щенок SOLO № 1. Почему именно так мы назвали свой альманах? Прежде всего в расчете на мировую славу (чтобы, допустим, в Бразилии или в Канаде читатель не мучился, с трудом выговаривая неизвестное слово, и не ломал голову над тем, что оно значит). И потом такое название при минимальном умственном усилии можно воспринимать как указывающее на независимость и неприсоединенность журнала и его авторов к каким-либо политико-литературным группировкам. В то же время для любителей двойного смысла и аббревиатур СОЛО может означать, к примеру, Союз литераторов-одиночек.

После выхода первого номера обнадеженные удачным подбором авторов в редколлегию "вписались" А.Г. Битов и Е.А.

Попов. Понятно, что в такой компании плыть дальше было уже веселей.

Третий (первый в новом качестве и в новом году) номер составлен по тому же принципу, что и предыдущие. Авторы – из разных городов и весей, ранее в основном не публиковавшиеся: А. Шарыпов – ”технар” из Владимира, И. Ахметьев живет в Москве и работает в библиотеке, А. Бартов – ленинградец, Е. Лапутин – москвич, Г. Юдин – из Харькова; самый молодой из участников этого номера – Р. Марсович, студент Литинститута, а вот Ю. Богорада уже нет в живых, он так и не напечатал при жизни ни строчки своих стихов; Вову Ежова, больше известного в качестве сценариста, и бывшего математика Леню Костюкова я знаю по их первой публикации в ”Октябре”...

В этом номере нет произведений, претендующих на глобальное значение и всенародное признание, нет также публицистических стенаний и полемик. Перед вами проза и поэзия для гурманов, для тех, кто ловит ”кайф” от самих слов в тексте, от того порядка, в каком они расставлены, от ”игры” автора с этими словами. Читатель ведь и должен в конце концов получать от литературы не инфаркт, а удовольствие. Хорошая литература – о чем бы она ни говорила, какой бы объект ни избирала – это всегда радость, всегда праздник. С этой мыслью мы выпускаем очередной номер нашего SOLO.

А. МИХАЙЛОВ

Александр Шарыпов

КЛОПЫ

Бежал по матрацу клоп. Матрац был серый в зеленую поло-ску, а клоп красный, ноги колесом, и звали его Прокопыч.

У черного штемпеля привычно повернул налево, забрался на бугор и только собрался спуститься вниз, как навстречу ему – другой клоп, Распопов Сидор Кузмич:

– Так что, Прокопыч, поворачивай обратно, там начпрод шиш выдает.

– Ну?! – опешил Прокопыч.

– Век воли не видать! – перекрестился Кузмич. – Мужики у забора собираются, пойдем потолкуем.

Озабоченно наклонив голову, Прокопыч засеменял вслед за Распоповым. По пути встретили еще одного клопа, Ваську Губу.

– Чего, я слышал, будто с пайком облом? – спросил он.

– Пропадай, Расея, – сумрачно буркнул Прокопыч.

– Так что, Василий, нету Белоградова, и не ложилси, – объявил Кузьмич, и они втроем побежали дальше.

У забора гул, дым, ропот, одних следов и окурков – сила!

– Садись, покури, Прокопыч, – сказал Миша Чучин, протягивая ладонь. Он сидел в такой позе, будто справлял большую нужду, и, свесив руки, курил.

– Как же это вышло-то, мужики? – спросил Прокопыч, здо-рбуясь со всеми за руку.

– Я и говорю, – моргая, стал рассказывать плюгавый клоп Ванька Бураков. – Выходит, первый я сегодня пошел. Думаю, не уснул еще, гад, задавит, а рискну, потому как жрать надо чего-то, да и тихо, однако, – моя-то конура, знаешь, у самых у пружин – слышу, не скрипит. Ай, думаю, жисть наша, семь твою в нос, рискну! Вылез, бегу, душа в пятки ушла, однако чую – не скрипит ведь, гад! Ладно, думаю, поэт – известное дело, не дышит, не дышит, а потом хватать ватой – и подожжет! Это у него мода такая стала – ватой хватать. Ну, бегу, по окопчикам прячусь – вдруг мне как по лбу стукнуло: что же это, кажись, пятки на шву не было! Это, значит, примета такая у меня: на конце матраца шов есть, черными нитками шит, ну, и там аккурат пятка всегда бывает. Осадил я, назад воротился – точно, нету пятки!

– Ат ты! – не удержался Прокопыч.

– Ну! Меня как по ендове стукнуло! Бегу уж не прикрывшись,

поверху, во все глаза гляжу: нету Белогородова, хоть тресни! Я и туды, и сюды, и под горой, и на лонжероне был – ну нету, берлинский барабан, вот обида, семь твою в нос! А тут и Миша стретился...

– Здоров, Семен, – сказал Миша Чучин, протягивая руку очередному пришедшему. – Садись, покури, в ногах правды нет.

– Не, а че же делать-то, че же делать-то, – заволновался какой-то молодой клоп.

– Говорю вам, под кроватью сидит, – угрюмо произнес Славка Пень. Он стоял, прислонясь плечом к забору, и все крутил на голове новую зеленую шляпу; то задом наперед повернет, то передом.

– Известно, сидит где-то, – сказал Прокопыч, почесывая бок. – А штаны-то снял ли?

– Да ведь до штанов ли, Прокопыч? – заморгал глазами Ванька Бураков. – Что свет погасил – все видели, и дверь запер с этой стороны. А штаны – кто за имя уследит!

– Известно, кабы заранее знать, – согласился Прокопыч.

– Под кроватью он сидит, больше негде, – повторил Славка Пень, поворачивая шляпу.

– Не, а че сидим-то, мужики, че сидим-то зря?! – волновался молодой. – Айда поищем!

– А ну-ка, парень, ты у нас самый шустрый, – рассудил Прокопыч. – Слтай вниз, погляди, давай, во, напрямик, через лонжерон, и туды! Давай!

– А чего, дадите курево – слетаю.

Протянули ему сразу две папиросы, он одну за ухо, вторую в рот – и побежал, только штаны засверкали.

– Эх-ма, – вздохнул Прокопыч, усаживаясь. – А чей он хоть есть-то?

– Да Тыквы сын, – сказал Миша Чучин.

– Чего-то не знаю его.

– Ну! Тыквы-то сын! Жена-то у него прошлый год супер-фосфатом отравилась.

– У Тыквы?

– Да не у Тыквы! У Кольки! Рыжая Капка-то! Шумная баба! Гарибальди-то!

– А-а-а! Офони Тыквины Колька!

– Ну!

– Ты смотри, мордovorот какой вырос!

– Ну.

– Вот я когда в девяносто седьмой сидел... – сказал Славка Пень.

– Это где семья, что ли? – уточнил Прокопыч.

– Ну... Сидел, это самое, так они тоже, бывало, под кровать залезут – и спят там, будто я не найду... А не то в шкап. А во, – веско произнес Славка Пень и сплюнул. – Если под кроватью нет – значит, в шкапу.

– Ну-кось, шкаповские! Есть тут кто шкаповский? – крикнул Прокопыч, вытягивая шею.

– Как же, придут оне, жди, – угрюмо сказал Славка Пень. – Говорю вам, в шкапу сидит.

– Так а больше-то негде, – сказал Прокопыч, почесывая бок, со злостью подумав о том, что придется бежать в такую даль.

– Не, во гад, а? – сказал Ванька Бураков, озираясь по сторонам. – И носит же земля таких гадов! Чего не удумают, чтоб только нашему брату досадить!

– Тю! – сказал Миша Чучин и приставил ладонь ко лбу. – Чего шумите? Вот вам и шкаповский один! Здорово, Козловский! Проснулся? Садись, покури.

Давя кулаком глаза, к забору подошел растрепанный, небритый клоп в галстук. Смущенно поздоровавшись со всеми, он стал растирать ботинком пыль.

– Гляди-кось, он в галстук! – подковыривал Миша Чучин. – Будто конферансье, елки зеленые! Чего, Пал Федорыч, али праздник седня какой? Не к вам ли кассу слили?

– Да ну, я думал, здесь, как всегда! – махнул рукой Козловский, принимаясь торопливо и порывисто ходить взад и вперед, бросая на всех резкие взгляды.

– А чего, неужто не у вас?

– Да ну... – отвернулся Козловский.

– От едрена мать, – Миша Чучин с расстройства не сразу попал папирсой в рот.

Воцарилось долгое молчание. В наступившей тишине было слышно, как шипит и трескает папирса у Миши Чучина: и так хреновый табак был в папирсах, да еще палку туда засунули – жизни нет от воря!

– Однако неладно, мужики, – заметил Прокопыч.

– А вот Колька бежит! – увидели задние.

– Мужики! – издалека весело закричал молодой. – Нету Белогрудова под кроватью!

– Ат ты!.. – хлопнул себя по коленам Прокопыч и сплюнул в землю. Стало опять неясно и тревожно.

– Слушай сюда, мужики! – крикнул молодой, высовывая вверх свою потную и пыльную рожу. – Чудеса, да и только! – он вдруг захохотал, ухватившись за бока, и присел.

– Что ты ржешь-то, собака! – замахнулись на него, и он зарорал:

– Не, ей-богу, не вру: наш придурок на потолке сидит!

Клопы загудели. Прокопыч кончил чесать бок и некоторое время, недвижно уставившись на говорившего, размышлял. Потом, хлопнув глазами, крикнул сердито:

– Эй, парень! – Как это он может на потолке сидеть, если он с потолка сейчас свалится?

Клопы разом смолкли.

– Хеть, – сказал Миша Чучин, качая головой. – Это ж надоть до такого додуть!

И бросил папиросу.

– Это же Белогрудый, а не кто-нибудь! – сердито кричал Прокопыч. – Ты вон крови напьешься, тебя и то на потолке-то еле ноги держат, потому – тяготение! А это Белогрудый! В ем сала одного – кровать ажник до полу прогибалась!

– Да че? – выпучив глаза, крикнул Колька. – Че? – растолкав толпу, он вышел вперед и подпрыгнул, наступив на горящий окурок. – Че? – повторил он, держась за пятку и прыгая на одной ноге. – Раз такое дело, пой- дем всей артелью, поглядим!

– Ну, пошли, – степенно произнес Прокопыч, поднимаясь, и клопы, гудя, всей артелью двинулись за охромевшим Николаем.

– Главное, Прокопыч, мне это дело позарез надоть, – толковал Прокопычу Васька Губа, топая сапожищами. – Мне без этого дела хоть домой не иди! Жинка, да ить и пятеро мальцов у меня, сам знаешь!

– Мудрено, – гнул свое Прокопыч.

Он шагал все быстрее, засунув руки в карманы. От топота сотен ног стоял глухой гул и тряслась земля. Клопы толкали друг друга, наступали друг другу на ноги, а в суматохе, когда перелезали через провод, Миша Чучин чего-то не разглядел в темноте, поскользнулся, да и полетел, матюкаясь, на пол.

– Вот, – сказал Прокопыч мрачно.

– Да ей-богу, не брешу! – торопливо отозвался молодой, сердясь и пугаясь.

Его слова потонули в глухом гуле. Клопы, взбудораженные, побежали бегом, пыля и грохоча, как стадо. А прибежав, разом остановились, и гул стих, и настала тишина.

Тогда вперед выкатился Колька Тыквин, мордovorот, и стал объяснять, ковыляя и подпрыгивая:

– Вот, смотрите, то есть он, конечно, не то чтобы сидит здесь, как все сидят, а совсем даже наоборот, то есть он на башке вверх ногами стоит, то есть не вверх ногами, а ежели тяготение смотреть... А, ну да! Вниз башкой! То есть он себя к потолку за голову веревкой привязал!

Клопы стояли, разинув рты, и ничего не понимали.

– Стой! Завелся! – с досадой сказал Сидор Кузмич Распопов. – Куда у нас тяготение-то идет?

– Тяготение вниз башкой идет!

– Хренов тебе как дров! Как же вниз башкой!

– Че? На потолке-то вниз башкой тяготение!

– Стой! Завелся! Ну-ко, мужики! Как мы шли-то, подожди?

– Как же... Прокопыч... Как же это... Веревка-то... А?... Как же это веревка-то не лопається?

– Веревка, – очнувшись, ответил Прокопыч исключительно для репутации, ибо понял теперь все, – это аглицкая веревка и потому не лопається.

– А! Вона... Аглицкая...
– Известное дело, поэт...
– Стой! Мужики! Неладно тут дело-то. Как мы шли-то, подожди...

Отталкивая друг друга, клопы полезли по придурку, а Прокопыч, выждав и оказавшись позади всех, огляделся, повернулся да что есть духу помчался домой.

”Ах ты! – кричал он про себя, задыхаясь и багровея. – Вот те и закручивай! Ну, пестерь же я! Ишо бы там сидел – потом обгоняй тех мордovorотов!”

– Ну, жена, – сказал он, хлопнув дверью. И, пройдя мимо жены, зачерпнул ковш холодной воды и принялся жадно пить, потом оторвался и выдохнул: – Собирай шмотки, драпаем отсюда!

– Таваканы пвибегали, все стаканы выпивали, – пролепетал карапуз, волоча по полу кубик.

– Эх, жизнь, – помрачнев, вздохнул Прокопыч.

И, размахнувшись, плеснул остатки воды под стол.

ОВДИН

Овдин – это тот высокий старик с красной лысиной, которого пионервожатая позвала на сцену, и он пошел, и остановился в проходе, и стал топтаться на месте, а потом опять пошел. У которого в горле застряла картофелина, и никто ничего не понимал, когда он говорил, и пионервожатая громко переводила, что он в гражданскую воевал против англичан, брал остров Мудьюг и город Шенкурск. Потом ему повязали на шею красный галстук, и он сидел на сцене в валенках, положив ладони на колени, и дышал, раскрыв рот.

– Как вы дышите, дедушка! – сказала ему пионервожатая; он приклонил ухо, перестал дышать, но не услышал и махнул рукой, и опять задышал, облизнувшись. Он глядел поверх нас, пионеров, и один глаз у него был мутный и слезящийся, а второй – яркий, сухой и неподвижный.

Это тот старик, Иван Михайлыч, которому говорили в больнице:

– Не залеживайся, дед! Зима скоро!

Которого не слушались ноги, и он сидел на койке и шаркал тапками по полу, и дышал, глядя на пол. Который был не глухой, но все звуки проваливались у него в какие-то дыры, и когда таракан выбегал на поверхность, он бил по тумбочке, не соразмеряя силу удара с силой возникшего звука, отчего задремавшие вскакивали. Я спросил его в сумерках, воевал ли он с англичанами. Он смотрел вопросительно, открыв рот и шевеля языком,

и схватился за костыли после второго вопроса; и я просил в третий раз, и он ответил, махнув рукой:

– Как не воевал!

Это Ванек Овдин, пулеметчик, сидевший с пулеметом на дровяном складе в Обозерске и державший под прицелом крыло избы, в которой умер от ржавого гвоздя кочегар Гостев. Огромный плотницкий гвоздь был налицо, но кто втыкал его в ухо кочегару – осталось нераскрыто. Видели, как отшатнулся кочегар, входя в избу, как в лицо ему совала икону старуха из темноты.

Теперь там под холодным солнцем стоял бесстрашный комиссар Бобыкин, держась за косяк, – тот Бобыкин, который звал Гостева Глостером, а Овдина – Оуэном, – он стоял на крыльце и соглашался, что надо стрелять без пощады.

– Но не в эту же старуху Лизавету, – говорил он, держась за косяк. – Я вам, товарищи, предлагаю стрелять в главную контру, через перила. – Я предлагаю Господа Бога нашего Иисуса Христа расстрелять к едреной матери.

После чего, развернувшись, ушел в темноту сеней и появился, согнутый, с иконой под мышкой.

– За неимением Христа, – сказал с досадой в голосе, разгибаясь, – расстреляем пока что Божью мать, потому как, товарищи, один хрен.

И поставил икону в траву, у сруба колодца.

– Именем Реввоенсовета Республики, – сказал он, суя руку в деревянную кобуру, – по закланному врагу рабочих, солдат и матросов... Огонь!

Ударили враз тридцать винтовок, и разлетелась в шепки икона, и упала на подоконник старуха, смотревшая из окна.

А Ванек Овдин смотрел на все на это через пыльное оконце дровяного склада, он смотрел то туда, то сюда, и в глазах его разлетались, будто пугаясь, черные мухи голода. Он был посажен в засаду, на дровяной склад, на тот случай, что если все ж-таки с неба опустятся ангелы, и хоть бы сам Георгий Победоносец, – чтоб разбить окошко поленом и ударить им в спину из пулемета.

ШТАНЫ

В ту ночь мне не спалось. Вздрагивали стекла от непогоды, металась под потолком букашка, всякие мысли лезли в голову, заставляли выйти на улицу: как там? что?

Горели желтые лампочки, и я спускался, засунув руку в карман. Под лестницей у нас складывают всякий металлолом пионерам, вот там как раз лежала чья-то раскладушка, гнутая и заржавленная, и на этой-то раскладушке сидел, сторбившись,

человек, увидев которого, я сразу вынул руку из кармана и обалдело сел рядом с ним, и все мысли, которые лезли в мою голову, лезть туда перестали.

Этот человек был в синем пиджаке и галстукe, в лакированных румынских ботинках, но в черных и, пардон, потертых трусах.

– Эта, как ее, – произнес я, оборачиваясь к нему, – жена, что ли выгнала?

Он посмотрел на меня и тяжело вздохнул.

Я протянул ему руку:

– Здравствуйте, товарищ.

Он пожал мою руку, но опять ничего не ответил.

– Вот, – сказал я тогда, – погода.

И ткнул пальцем в дверь.

А он опять промолчал.

– Эх! – не сдавался я. – Ка-ак же они нас, а?

И, подняв руку, как пионер, впечатал ладонь в колено.

– Сволочи, – сразу согласился человек в румынских ботинках.

– Нет, ну надо же, а? – сказал я, уставясь в пол, потому что понятия не имел, кто сволочи.

– Сволочи, – повторил он. – Ты скажи, что им надо? Что им надо от нас? Они, кила им у зад, угомонятся когда-нибудь или нет? А?

– Да... – вздохнул я. – А вы сами из какой квартиры?

– Та я из соседней улицы.

– Вот те раз! За что же она вас так?

– Кто?

– Да жена ваша.

– Какая там жена... Нетути у меня никакой жены.

Я задумался. Надо сказать, я с детства не любил всякие загадки, особенно про капусту или про грушу, у меня от них всегда беспокойство происходило.

– Да где тогда ваши брюки? – озлившись, полез я напролом.

– Та! – махнул он рукой и опять, сгорбившись, загрузил.

– Что, украли, что ли?

– Не.

– Слушайте, товарищ, вы мне голову не морочьте. Я человек чувствительный, тонкий. Мне такие загадки вредно загадывать!

– Та что же я... Вышел погулять ночью... Уж совсем нельзя стало.

– Товарищ! Ночью наоборот должно быть все ясно, потому что люди спросонок и соображают хуже!

– Та я родился таким дураком, вот и все вот...

– Как так? – опешил я и вдруг увидел, что он плачет. Помедив, я сказал:

– Ну-ка, пойдём, – и потащил его за локоть. Он покорно дал себя вести, захватив зонтик, лежавший на раскладушке. Я привел его к себе на кухню и заставил выпить сто грамм, после чего

он с безразличным видом стал снимать башмаки и, сняв их, остался в красных носках.

– Ну так что? – сказал я.

– Та я же говорю... Такой я и есть урод узади ноги. А что? Та если б не это, я б еще показал! А! – махнул он рукой, налил сам себе в стакан и, выпив, вытер ладонью рот. Я протянул ему грузди, но он, мотнув головой, отстранил мою руку и заговорил, махая перед лицом ладонью, будто ловя невидимую муху: – Усем взял! Усем взял! Сила есть! Да, не жалуюсь! И рожей вышел! И ума хватает! В сашки кого хошь обыграю! Ну! А вот штанов не дал бог. Не дал бог штанов-то, – и он, замолчав, отщипнул задрожавшими пальцами кусочек хлеба.

Я сидел подавленный и тер колено.

– Никак привыкнуть не могу, – говорил он, щипая хлеб. – Вот недавно иду в магазин. Бабы, те жалеют, конечно, не смотря, вроде и ничего... Делают вид... ”Здрасьте, Валерий Петрович... Вам рожки подать, Валерий Петрович?” А выходить стал – тут девушка какая-то, годов пяти: ”Мама, – говорит, – а почему у дяди штанов нет?” Как кипятком ведь ошпарила, пуговица этакая... Им же рот не заткнешь, детям-то...

– Да, – сказал я и стал скоблить ногтем лимон, нарисованный на клеенке.

– Теперь зиму возьми. Летом-то ладно, а ты попробуй зимой, зимой попробуй, вот хреновина-то где!

Я покачал головой.

– А пуще всего худо – один я! Слепой – тот на конгресс собирается, и библиотека у него своя, потому как много его, слепого накопилось! А я один! Я один на весь шар земной хожу такой урод! Без штанов! А какая дура за меня замуж пойдет? Какая дура? Жалеть жалеют, а чтоб у дом мой – та ни за какие деньги! Она за десять слепых пойдет, только не за меня! Кила ей у зад!

Мы проговорили с ним до самой зари. Вернее, говорил все он, а я только сострадал. Проводив его на рассвете до двери, я засунул руку в карман, прислонился плечом к косяку и задумался. Какое-то новое, светлое чувство рождалось в моей душе. Хотелось чем-то помочь этому несчастному человеку, облегчить его страдания. Я вспомнил, что в холодильнике у меня лежит желтая дыня, и решил непременно притащить ему завтра эту дыню, и тут же обругал себя, потому что забыл спросить адрес, а потом тяжело вздохнул. Сколько их, несчастных и обездоленных, вечно страдающих, ходит по свету, а мы, те, у которых все есть, еще недовольны чем-то, еще требуем чего-то, стучим по столу кулаками, ропщем на судьбу, не спим по ночам – как это нехорошо все, друзья мои, как нехорошо...

Стихи

* * *

правильно
воспитанный
человек
незнаком
с угрызениями
совести

а иной человек
живет
и его совесть
грызет
и он пьет
и она его грызет
и он пуще пьет
и она его пуще грызет
и он уже не живущий
а пьющий
все пуще и пуще
пропавший

* * *

дым впереди
вокруг и слева
и наверху и сзади дым
и если вам по нраву слово
его не раз мы повторим

* * *

труд создал из человека обезьяну
из обезьяны мышку
из мышки лягушку
из лягушки рыбку
из рыбки губку
из губки тувельку
а тувелька трудилась-трудилась
и прохудилась

* * *

существование
со существом
сосущим кровь

* * *

читайте
но не завидуйте

* * *

муравьи-строителя
и муравьи-мыслители

муравьи-строители
инстинкту повинуются
а муравьи-мыслители
с инстинктом соревнуются

* * *

не спят будильники
и холодильники

**НЕДОЛГОЕ ЗНАКОМСТВО
ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА МЕРЗЛЯКОВА
И АНТОНИНЫ ИВАНОВНЫ ТУПОУХИНОЙ**

(венок сонетов)

**Иван Васильевич Мерзляков знакомится
с Антониной Ивановной Тупоухиной**

Иван Васильевич Мерзляков, человек с редкими волосами и холодными ногами, встретил Антонину Ивановну Тупоухину. Он своими пожилыми надсаженными глазами не сразу ее разглядел. А была Антонина Ивановна, встретившаяся ему, белокура, курчава, с маленькими тупыми ушами и начинала полнеть. Иван Васильевич, обратив внимание на Антонину Ивановну и для знакомства, сказал:

– Жизнь тяжела, как коровья лепешка.

– Верно говорите, – ответила Антонина Ивановна, – жизнь без любви, что яблоко без семечек, сплунуть нечего.

– Правильно, – подтвердил Иван Васильевич, – любовь, как сучок, сквозь стену глядит.

Так, изредка обмениваясь замечаниями, дошли они до дома Антонины Ивановны. Вошли и, молча одергивая на себе рубашки, посмотрели в окно. Солнце уходило и поднималась потная ночь. Неистово и дребезжаще лаяла во дворе собака. А над двором в небе стояла голубоватая звезда Альферанд из созвездия Андромеды. Глаза Ивана Васильевича заблестели, он схватил Антонину Ивановну и, вздрагивая локтями после каждого удара, стал ее бить. Антонина Ивановна вертелась на кровати и повизгивала. Иван Васильевич устал, сказал запыхавшись:

– Человек, будто собака, визжит и вертится, а зачем – неизвестно, – и сел за стол.

**Иван Васильевич Мерзляков ужинает
с Антониной Ивановной Тупоухиной.**

Иван Васильевич Мерзляков сел за стол и Антонина Ивановна Тупоухина налила водки. Лица у них покрылись маслянистым глянцем, глаза увлажнились, в углах губ запеклась слюна. В окно упрямо, как мышь, скреблись мухи. На дворе неистово и дребезжаще лаяла собака. А над двором высоко в небе

стояла бело-оранжевая звезда Поллукс из созвездия Близнецов. Иван Васильевич после каждой рюмки ковырял длинными ногтями наливные плечи Антонины Ивановны, а Антонина Ивановна закусывала пирожками. Допив водку, Иван Васильевич притянул к животу Антонины Ивановны, закричал от удовольствия и плюнул ей на пупок.

– Пупок глазам замена, – сказал Иван Васильевич, – кто бы плюнул в глаза, плюет в пупок.

Антонина Ивановна, тоже усталая, спрятала голову под мышкой у Ивана Васильевича, радостно улыбаясь и постанывая. Иван Васильевич вытянул голову Антонины Ивановны, сказал со значением:

– Баба стонет, что сапог скрипит, а звук, он долготы просит, – и притянул к себе Антонину Ивановну за завитки волос.

Иван Васильевич Мерзляков и Антонина Ивановна Тупоухина поют песни.

Разомлевший Иван Васильевич Мерзляков притянул к себе Антонину Ивановну Тупоухину за волосы, всмотрелся пристально, сказал:

– Бабы, что кошки, все бы спать иль с мужиками лежать, а петь не умеют. Иная рот раскроет, а только взвизгнет, как в воду окунется. Запевай!

Антонина Ивановна раскрыла пухлый рот, запела, закурлыкала:

– Клы, клы, клы, клы, клы.

Иван Васильевич подтянул, запулькал:

– Пуль, пуль, пуль, пуль, пуль.

Антонина Ивановна:

– Плень, плень, плень, плень, плень.

Иван Васильевич:

– Трр, трр, трр, трр, трр.

Антонина Ивановна:

– Га, га, га, га, га.

Иван Васильевич:

– Го, го, го, го, го, ту.

Антонина Ивановна, чисто соловей: фюи, фюи, фюи, фюи, фюи, тии-вить, тии-вить, тии-вить, тук.

Из приоткрытого окна несло яблоневым цветом. Неистово и дребезжаще лаяла во дворе собака. А над двором высоко в небе стояла оранжево-зеленоватая звезда Бенетнаш из созвездия Большой Медведицы. Иван Васильевич благодарно притянул

к себе Антонину Ивановну, почесал между ног, сказал с расстановкой:

– Сладко петь, что колени чесать, с истомы не сойти, – и вышел во двор.

Иван Васильевич Мерзляков и Антонина Ивановна Тупоухина гуляют во дворе.

Иван Васильевич Мерзляков вышел во двор на прогулку вместе с Антониной Ивановной Тупоухиной.

– Баба от мужика не отстаёт, как лошадь от оглобли, – приговаривал Иван Васильевич, подталкивая кулаком перед собой Антонину Ивановну. Из открытого окна во двор доносился запах жилья. Во дворе неистово и дребезжаще лаяла собака. А над двором высоко в небе стояла зеленовато-желтая звезда Арктур из созвездия Волопаса. Гуляя, Антонина Ивановна все время оборачивалась и, улыбаясь, бросала в Ивана Васильевича куски земли и камни. Это вначале нравилось Ивану Васильевичу, но несколько камней попали ему в голову и разодрали нос и уши. Иван Васильевич, раздраженный, подскочил к Антонине Ивановне, одной рукой оттянул тупую мочку уха, а другой схватил за горло и принялся душить. Когда Антонина Ивановна, задыхаясь, упала, Иван Васильевич потер ей толстую грудь, похлопал по щекам. Антонина Ивановна открыла глаза и стукнула Ивана Васильевича в уже изодранный нос. Иван Васильевич Мерзляков высморкался с кровью, обнял Антонину Ивановну, сказал:

– Любовь, как таракан, своего времени требует, – и понес ее в дом.

Иван Васильевич Мерзляков и Антонина Ивановна Тупоухина любят друг друга.

Иван Васильевич Мерзляков внес Антонину Ивановну Тупоухину в дом, осторожно положил на кровать и, стиснув зубы, начал закручивать на ее груди прохладную от пота тонкую кожу. Антонина Ивановна металась по мягкой кровати, трудно дышала. Иван Васильевич шарил по ее лицу, искал липкие губы. Под пальцами Ивана Васильевича Антонина Ивановна сжимала и разжимала челюсти. Иван Васильевич притомился, ска-

– Баба, что погреб, снаружи тепло, внутри холодно, – и отвалился от Антонины Ивановны.

Дуло из приоткрытого окна. Во дворе неистово и дребезжаще лаяла собака. А над двором высоко в небе стояла желто-красная звезда Корнефос из созвездия Геркулеса. Антонина Ивановна, приподнявшись на локте и шевеля пухлыми в суставах пальцами, окинула взглядом похудевшее тело Ивана Васильевича, сказала:

– Мужик прилипает к бабе, как лист к стеклу, – и сразу заснула.

Иван Васильевич, пытаясь согреться, прижался холодными ногами к широкому икрам Антонины Ивановны.

Сон Ивана Васильевича Мерзлякова.

Иван Васильевич Мерзляков прижался холодными ногами к широкому икрам Антонины Ивановны Тупоухиной. Антонина Ивановна похрапывала рядом и ее громадная грудь с черным соском вываливалась из рубашки. Храп мешал Ивану Васильевичу заснуть. Он намотал на руку волосы Антонины Ивановны и другой рукой зажал ей рот. Антонина Ивановна подавилась в крике. Тогда Иван Васильевич слегка приоткрыл ее рот. Антонина Ивановна глубоко вздохнула, укоризненно посмотрела на Ивана Васильевича и снова заснула. Иван Васильевич прошептал сквозь зубы:

– Любовь, что земля, нет ничего жирнее, – положил голову на грудь Антонины Ивановны и тоже заснул. И приснился Ивану Васильевичу сон.

Лежит Иван Васильевич на кровати и моргает глазами. В окне густеет сумрак, стелется туман, падают дожди. Вокруг чернеют и расплываются многочисленные тени. Одна из теней, большая и потная, выщипывает ему волосы. Иван Васильевич Мерзляков проснулся от страха. Голову его прижимала Антонина Ивановна Тупоухина, гладила по мокрым от испуга волосам, отрывала их поодиночке. Неистово и дребезжаще лаяла во дворе собака. А над двором высоко в небе стояла красно-фиолетовая звезда Турбан из созвездия Дракона. Иван Васильевич стукнул кулаком по выгнутой спине Антонины Ивановны, потер нога об ногу, как бы стряхивая грязь, сказал многозначительно:

– Длинные волосы мыслям помеха, – и достал большие ножницы.

Иван Васильевич Мерзляков подстригает Антонину Ивановну Тупоухину.

Иван Васильевич Мерзляков достал большие ножницы и, положив левую руку с растопыренными пальцами на грудь Антонины Ивановны Тупоухиной, правой начал стричь ее покорную голову.

– Волос для бабы, как перо для птицы, за ним головы не видно, – сказал протяжно Иван Васильевич и улыбнулся. Антонина Ивановна сидела на кровати, потупившись и о чем-то задумавшись, слегка пощипывала тощую ляжку Ивана Васильевича. Светлые густые курчавые волосы, легкие завитки черного пуха над расставленными веером зубами, маленький чистый лоб Антонины Ивановны производили выгодное впечатление. Выразительные навывкате глаза смотрели мимо Ивана Васильевича в окно. Из окна несло прохладой. Неистово и дребезжаще лаяла во дворе собака. А над двором высоко в небе стояла фиолетово-лиловая звезда Спика из созвездия Девы. Космы русых жестких волос скользили по обнаженным плечам Антонины Ивановны, вились вдоль бедер, валялись на пол. Волосы скрипели, захваченные ножницами, а Иван Васильевич все стриг и стриг. Наконец Антонина Ивановна тряхнула головой, соскочив с кровати, сказала решительно:

– Жизнь из тела выходит, как из трубы дым, – и стала топить печь. Иван Васильевич ей помогал, подбрасывая сухие продолговатые поленья.

Иван Васильевич Мерзляков и Антонина Ивановна Тупоухина топят печь.

Иван Васильевич Мерзляков и Антонина Ивановна Тупоухина топили печь, подбрасывая сухие продолговатые поленья. Иван Васильевич долго смотрел на огонь, затем сказал:

– Огонь без дров, как кобель без суки, хиреет и морщится.

Стало жарко. Окно на двор было закрыто. На дворе дребезжаще и неистово лаяла собака. А над двором высоко в небе стояла лилово-золотистая звезда Аздра из созвездия Большого Пса. Обильный пот выступил на груди Антонины Ивановны и на шее Ивана Васильевича. Когда печь уже вся была набита поленьями, Иван Васильевич, вытирая пот, ударил Антонину Ивановну поленом по ногам. Антонина Ивановна тоже схватила полено и, подрагивая плечами, ударила Ивана Васильевича по животу. Иван Васильевич ойкнул, сказал:

– Живот, что кот в тепле, урчит и воет, – и ударил Антонину

Ивановну поленом до голове. Антонина Ивановна упала, немного полежала, потом встала, зевая, и пошла в баню. Иван Васильевич отправился вслед за ней.

Иван Васильевич Мерзляков и Антонина Ивановна Тупоухина в бане.

Иван Васильевич Мерзляков отправился вслед за Антониной Ивановной Тупоухиной в баню. Он сел на полку и намылил свое костлявое желтоватое тело. От света лампочки в центре потолка блестел почти голый с редкими волосами череп Ивана Васильевича. Антонина Ивановна, щедрая от жары на ласку, прижалась грудью к животу Ивана Васильевича.

— "В бане мыться, заново родиться", — подумал Иван Васильевич, свернулся в ногах у Антонины Ивановны и задремал тут же на полке. Очнулся Иван Васильевич от того, что Антонина Ивановна колотила его лысую голову о доски. Дышала Антонина Ивановна тяжело, пена выступила у нее изо рта. Она обхватила Ивана Васильевича за талию, заглянула в глаза, сказала тихо, с удушьем:

— Сердце заходится. Любовь, что солнце, в сундук не упрячешь.

Намывшись и поддерживая друг друга, Иван Васильевич и Антонина Ивановна вышли в предбанник. Иван Васильевич заботливо обтер полотенцем тело Антонины Ивановны, достал папиросу, жадно закурил, похлопал себя по тощим ляжкам, сказал:

— Тонка соломка, а брюхо питает.

Помолчали. Посмотрели в окно, сквозь которое со двора пробивались первые, еще слабые лучи солнца, вспыхивали в курчавых волосах Антонины Ивановны. Неистово и дребезжаще лаяла во дворе собака. А над двором высоко в небе стояла золотисто-пурпурная звезда Щедар из созвездия Кассиопеи. Иван Васильевич перевернул на лавке Антонину Ивановну животом вниз и погасил папироску об ее ягодицы. Антонина Ивановна захихикала, как от щекотки, потом медленно поднялась и втолкнула Ивана Васильевича в дом.

Иван Васильевич Мерзляков и Антонина Ивановна Тупоухина еще раз любят друг друга.

Разомлевшая Антонина Ивановна Тупоухина втолкнула Ивана Васильевича Мерзлякова в дом. Иван Васильевич потерял равновесие и упал. Антонина Ивановна, обхватив Ивана Васильевича за шею, слегка сжала ее пухлыми пальцами. Иван Васильевич закричал и потерял сознание. Антонина Ивановна стала щипать впалые щеки Ивана Васильевича, приговаривая:

— Мужик, что комар, пищит, пока не придавишь, — потом улеглась рядом с ним, прижимая голову Ивана Васильевича к

своей пышной груди. И, обнимая его, уснула. Ветер со двора приоткрыл окно, донося ночные запахи. На дворе неистово и дребезжаще лаяла собака. А над двором высоко в небе стояла пурпурно-оранжевая звезда Денеб из созвездия Лебедя.

Когда Иван Васильевич пришел в себя, то почувствовал, что громадная грудь с черным толстым соском забила ему рот, мешает дышать. Иван Васильевич выбрался из-под Антонины Ивановны, простонал:

– С бабы, что с подушки, головы не поднять, – и дернул несколько раз Антонину Ивановну за тупую мочку уха. Но Антонина Ивановна не проснулась, хотя спала беспокойно и тревожно.

Сон Антонины Ивановны Тупоухиной.

Антонина Ивановна Тупоухина спала беспокойно и тревожно. Огромная ее грудь металась по подушке и била Ивана Васильевича Мерзлякова по щекам. Иван Васильевич, уставший от тепла, захрапел. Антонина Ивановна проснулась, намотала на руку редкие волосы Ивана Васильевича и зажала ему рот. Иван Васильевич подавился в крике. Тогда Антонина Ивановна слегка приоткрыла рот Ивану Васильевичу. Иван Васильевич глубоко вздохнул и задышал спокойно и размеренно. Антонина Ивановна прошептала:

– Любовь, что солнце, ни обшагать, ни объехать, – и снова заснула. И приснился Антонине Ивановне сон.

Лежит Антонина Ивановна на кровати и моргает глазами. В окне густеет сумрак, стелется туман, падают дожди. Вокруг чернеют и расплываются многочисленные тени. Одна из теней, длинная и тощая, склонилась над Антониной Ивановной и покусывает ей уши. Антонина Ивановна проснулась от тошноты. Она сжимала потными руками голову Ивана Васильевича, рот ей забило большое в волосах ухо. Неистово и дребезжаще лаяла во дворе собака. А над двором высоко в небе стояла оранжево-желтая звезда Денебола из созвездия Льва. Антонина Ивановна Тупоухина вынула ухо изо рта, сплюнула обильную слюну, сказала:

– Волосами, что травой, сыт не будешь, – села за стол и налила Ивану Васильевичу водки.

Иван Васильевич Мерзляков завтракает с Антониной Ивановной Тупоухиной.

Антонина Ивановна Тупоухина налила Ивану Васильевичу Мерзлякову водки. Иван Васильевич щупал пышное тело Антонины Ивановны и после каждой рюмки водки простукивал его части, промеряя их и приговаривая:

– Одна нога, печенка, грудь, другая нога.

Антонина Ивановна съела пирожок за пирожком. Она рвала их зубами, и, когда жевала, то смотрела в открытое окно

во двор, словно о чем-то думая. Во дворе неистово и дребезжаще лаяла собака. А над двором высоко в небе стояла желто-золотистая звезда Шелиак из созвездия Лиры. Антонина Ивановна Тупоухина, дожевав последний пирожок, потеряла грудь и протяжно вздохнула:

– Живот, как свинья, не болит, а стонет, – и принесла карты.

Иван Васильевич Мерзляков и Антонина Ивановна Тупоухина играют в карты.

Антонина Ивановна Тупоухина принесла карты и села играть с Иваном Васильевичем Мерзляковым в дурака. Антонина Ивановна горячилась и поэтому проиграла. Каждый раз, когда она оставалась в дураках, Иван Васильевич бил ее головой об пол у своих холодных ног, и когда она теряла сознание, говорил:

– Дура спит, а счастье у нее в головах стоит.

Антонине Ивановне скоро надоело играть. Она жадно прихивалась. У нее кружилась голова и слегка подташнивало из-за запаха яблоневого цвета, доносившегося из открытого окна со двора. Неистово и дребезжаще лаяла во дворе собака. А над двором высоко в небе стояла золотисто-голубоватая звезда Альтаир из созвездия Орла. Иван Васильевич Мерзляков щелкнул несколько раз картами по носу Антонину Ивановну, потом сказал:

– По носу бить, нюх отбить, – и пристально на нее посмотрел.

Иван Васильевич Мерзляков расстается с Антониной Ивановной Тупоухиной.

Иван Васильевич Мерзляков пристально посмотрел на Антонину Ивановну Тупоухину. И наконец отвел глаза, вздрогнул, будто приходя в себя, сказал:

– Красота, что лошадь, сбруи требует, – и ударил Антонину Ивановну чуть ниже спины.

Оба встали и, одергивая на себе рубашки, подошли к окну. Солнце вставало, и теплая, потная уходила ночь. На дворе неистово и дребезжаще лаяла собака. А над двором высоко в небе стояла голубовато-белая звезда Беллатрикс из созвездия Ориона.

Иван Васильевич Мерзляков и Антонина Ивановна Тупоухина вышли из дома. Иван Васильевич последний раз ударил кулаком по голове Антонину Ивановну. Лицо его выражало грусть и усталость. Он сказал:

– Человек, что солнце, приходит и уходит, – и пошел прочь. Антонина Ивановна долго и неотрывно смотрела ему вслед.

В безграничных просторах неба сверкает и переливается всеми цветами радуги неисчислимое количество звезд.

А далеко внизу на земле все дальше и дальше отступают друг от друга две неразличимые с высоты звезд фигуры: Иван Васильевич Мерзляков и Антонина Ивановна Тупоухина.

ЛИЦА ПТИЦ

I

А, может быть, это может быть так: наскрести по карманам пятьдесят пять сантимов и вторым классом по пригородной линии Со добраться до станции, на которой растерянно замер Кублицкий, жмущийся поближе к лотку цветочницы и жадно вдыхающий знакомые запахи вяловатых цветов. Мимо пройдет коричневенькая стайка арабских студентов, мимо проскользит на хорошо смазанном велосипеде грузный кюре, мимо – не сразу узнав так изменившегося Вадима Иосифовича – вознамерюсь пройти и я, но, случайно обратив внимание на согбенную беспомощную фигуру, на отчаянный шепот: "Ведь я заблудился, заплутал, как же теперь быть, Господи..." тотчас остановлюсь и признаюсь себе в том, что я заблудился тоже, и так это невыносимо – слышать вокруг себя лишь незнакомую речь, чувствовать роение непривычных звуков, от которых сжимает свою слепую голову Кублицкий, от которых бы сбежал и я, но где отыскать теперь ту нежную безопасную тишину? Будет ли радость, будет ли облегчение от уполовинившегося одиночества? – наверное, нет, но я все равно подойду к Кублицкому, чтобы сказать: "Вадим Иосифович, мы с вами не условливались о встрече, но тем приятнее отдаться вам в руки. Ощупайте меня, обшарьте – теперь я виноват, мягок и горяч, и во мне больше нет ни одного острого угла", и Кублицкий недоверчиво покорится – его пальцы сначала пробегут по мне, а затем перейдут на медленный дрожащий шаг; его пальцы несколько раз обойдут меня, и, не заметив того, мы оба заснем, заснем стоя, и сквозь сон я скажу ему, что сегодня полдень, время самых коротких теней, а неподалеку от нас замечательный парк, фонтаны которого можно увидеть в действии каждое второе и четвертое воскресенье месяца. Будет, наверное, второе или четвертое воскресенье какого-то месяца, и я отведу Кублицкого к ближайшему фонтану, в котором он вымоет свои вспотевшие ладони, и как-то очень по-жалобному спросит: "Андрей, ну где же это мы с вами? Как обременительно мое новое свойство!", и придется разъяснить ему, что у дворца Ключи я наскреб по карманам пятьдесят пять сантимов и от станции Одеон доехал сюда вторым классом, и что станет потом, в нашем будущем, мне неизвестно. "Но, может быть, известно, что было в прошлом?" – с надеждой в слабом голосе снова спросит Кублицкий, и мне нечего будет ответить, ведь воспоминания о нашем родном городе столь недостоверны, и от страха что-нибудь перепутать затвердеет язык. Хотя, конечно, наш родной город когда-то был,

и, наверное, существует и сейчас: там осень теперь, как обычно, красно-желтая от усыхающих листьев, а по утрам зеленая трава на газонах белеет от нежного ночного инея, и люди на улицах переговариваются и переругиваются на знакомом и привычном языке, но вот что странно – продолжу молчать я, – мы с вами, Вадим Иосифович, из того города никуда не уезжали, и, в некотором роде, продолжаем жить там. "Что же вы молчите, Андрей, – не на шутку встревожится Кублицкий, – вы еще здесь, вы не ушли? Ну скажите, что случилось, что было уже?"

И я скажу, ведь что-то да было. Был, к примеру, пятнадцатый век, в котором выстроили дворец Ключни, одно из самых больших зданий по тем временам. Ранее на этом месте возвышался так называемый "Дворец дэ Тэрм" – огромное здание галло-римской эпохи, точное назначение которого до сих пор не выяснено. От этого здания сохранился еще замечательный зал. Аббат города Ключни в Бургундии, Жак д'Амбуаз велел построить в изящном и великолепном стиле пламенеющей готики дворец для Марии Английской, "белой королевы" – вдовы Людовика XII. Мольд ла Клавьер, написавший книгу об этой чете, без иронии называет короля отцом народа, относя к его достоинствам кротость и справедливость правления; тут же и ложка дегтя – во внешних делах были значительные неудачи. Впоследствии, в семнадцатом веке, дворец Ключни стал резиденцией папских посланцев. В девятнадцатом веке дворец стал государственным достоянием и в нем разместили Музей средневекового искусства. В музее находятся весьма примечательные собрания скульптур, декоративных тканей, мебели, ювелирных изделий и т.д.

Но сначала была зима. Чуть раньше вернулась со службы мать и с деланным равнодушием назвала по имени незнакомого мужчину, возвышавшегося над ней. Кублицкий, Вадим Иосифович, очень приятно, мне также. Случайная встреча, старый знакомый, много лет не виделись и так далее (все – ложь, но это выяснилось только потом). Безразлично потрогав детскую ладонку Кублицкого и на всякий случай запомнив, что все лицо у того занято бородой, Андрей неспешно засобиравшись к себе в комнату, но на середине сборов его внезапно застигла мать, которая, оборачиваясь через плечо, зашептала, чтобы он не оставил их вдвоем, я не знаю совершенно, о чем с ним говорить, предложи ему сыграть в шахматы, что ли. До того Кублицкий был безопасен с виду, даже – беспомощен, так медленно с его кожаной шапки на воротник сползал снег, так мирно таяли его галоши, что Андрей снисходительно уступил просьбе матери, и вдруг, молниеносно, проиграл первую партию, затем – вторую, а там и третью с четвертой, несмотря на то, что Вадим Иосифович прощал зевки и всякий раз умолял Андрея взять неудачный ход назад.

Вот вам, пожалуйста, еще одна ложь: мать принесла игрокам чаю, поинтересовавшись, между прочим, кто выигрывает, и Кублицкий поднял свои виноватые глаза: "Пока что я, к сожалению, но все равно, Андрей превосходный шахматист".

Кублицкий зачастил, и от вечеров, наполненных вчистую проигранными партиями, Андрею стало казаться, что Вадим Иосифович приходит только из-за него, к тому же и мать, не обращая ровно никакого внимания на них, сухо шелестела книгой в своей комнате, и появлялась лишь в начале десятого с горячим чайником и чашками в руках. Когда-то гордо отказывающийся от деликатных подсказок Кублицкого, Андрей теперь переживал при малейшей нужде, но все равно проигрывал и проигрывал, со злым восхищением любуясь отлаженным умением Вадима Иосифовича.

Когда-то Андрей пожаловался матери, что Кублицкий небедим, что имеется странное несоответствие: с виду он мягок, тих и застенчив, а фигуры его свирепы, безжалостны и жадны, и что же ответила мать?

Когда-то мать ему ничего не ответила.

Когда-то Кублицкий пришел к ним в гости впервые, и его тускло-черные галоши, испачканные грязным снегом, медленно таяли, а растаяв, обнажили босые ступни с поджатыми пальцами, и ступни таяли тоже, таяли и тотчас испарялись, но Вадим Иосифович, оставшись без ног, не падал, а висел в воздухе, трепыхая руками с розоватыми перепонками между пальцев, улыбаясь обезоруживающе изумленным хозяевам: "Виноват, очень виноват". Матери стало нехорошо, загнулся на полуслове Андрей – только что он хотел предложить Вадиму Иосифовичу клетчатые домашние тапочки без задников, но Кублицкий, видимо, уже привыкший к подобным казусам, быстро помог им: матери сунул под нос остро пахучую ватку, перепончатыми руками принял тапочки: "Если не возражаете, я надышу в них и буду греть ладони, уж очень они у меня зябнут, особенно пальцы". Как-то неловко вдруг стало, куда-то запропалились все слова, и Вадим Иосифович, стесняясь своих рук, назойливо пестрящих перед чужими глазами, сел поскорее в далекий серенький уголок, и сразу съежился, нахохлился, конфузливо бормотал слова извинений. Так бы и царило здесь общее замешательство, но мать, преодолевая брезгливость и дурноту, перед зеркалом натерла щеки румянами, заплела косу, и, надев на голову высокий кокошник, сказала с незнакомой певучестью: "Стыдно-то как, у нас гость, а я сижу, будто аршин проглотила. Гостей привечать надобно!" Покрыв стол скатертью с петухами, она принесла самовар, ароматные пирожки, блины и сметану, и сноровисто хлопотала вокруг Вадима Иосифовича и Андрея, и только в ее ледяных остановившихся глазах застыли искры

отчаяния и страха. А Кублицкий заметно повеселел, и, не обращая внимания на свои пустые штанины, распластавшиеся по полу, бодро рассказывал, что такая странная болезнь у него с детства, стоит войти из холода в тепло, но потом ноги нарастают, словно хвост у ящерицы, так что волноваться не стоит, хотя лично он от этой болезни порой испытывает определенные неудобства. Так, например, однажды пришлось заночевать у молодой одичалой солдатки, и среди крошечной тьмы, когда даже охрипший сверчок заснул, она соскользнула с печи и всей тяжестью своего перегретого тела навалилась на него сверху, и, широко раскрыв черный рот, жарко и жадно дышала какими-то словами, но тут очень кстати кончилась война, и в избу ввалился ее муж-герой, тренькающий орденами и пахнущий трупам убитых врагов. "Вот он, вот он я вернулся, – орал он с порога, – живехонек, без царапины!" – и солдатка, радостно плача, с чмоканьем отлепилась от Кублицкого и кинулась герою на шею, и снова раскрывала свой черный бездонный рот, куда победитель, быстро и неряшливо раздевшись, нырнул головой, и, голый, где-то там плавал, урча, отфыркиваясь и храпя. "Ну, вылезай же, – чуть погодя с томной леню попросила солдатка, – с непривычки так много сразу нельзя", – и из каких-то ее мокрых глубин доносился трубный голос героя: "Нет, пусть сперва безногий уйдет". "Куда же он уйдет, – ласково возражала солдатка, – это же сынок наш".

"Они вязли меня на воспитание, – жаловался Кублицкий, – и так трудно привыкал я к деревенскому быту. Ноги у меня быстро отросли, но о побеге и думать было нечего – супруги наняли морщинистую няньку, которая не спускала с меня глаз и заставляла вслед за ней повторять какие-то странные песни или вышедшие из употребления молитвы; я был плохим учеником, и старуха лупила меня наотмашь по щекам, ставила коленями на горох, обкармливала соленьями и не давала воды, запирала в темной натопленной бане, где какие-то жаростойкие насекомые шустро грызли мне ноги, ночами водила меня на далекое кладбище и там затевала свое колдовство: превращалась в потрескавшиеся надгробья, вытягивала за истлевшие руки из ям мертвецов и целовалась с ними или танцевала медленный фокстрот, а утром, изможденные, мы возвращались с нею домой, и она, мучаясь покаянием, говорила, что вновь совершила грех, и утренние косцы и жнецы – дорога шла между бескрайних полей – с осуждением глядели на нас".

Вдруг Андрей осознал, что его совершенно не заботит, правдив ли Вадим Иосифович или бессовестно лжив, так как все рассказываемое им относилось к какой-то иной, плоско парящей в безвременье реальности, в которой обитали не только все его шевелящиеся персонажи, но и сам Андрей, предлагающий клетчатые домашние тапочки без задников сгустку пустоты, мать в диковинном кокошнике, ловко варганящая рыжие блины, не-

кий Мольд ла Клавьер, рукою в гусиной коже водящий гусиное перо, канонический шахматист Турати, дергающий свои фигуры за ниточки, от чего они подскакивали и гримасничали, и, кажется, не было спасения, хотя конь е-9 оставался еще вполне дееспособным, хотя король уже мог укрыться за парализованную ладью – все это кое-как продлевало агонию, но не игру, и Кублицкий, действительно очень искусный игрок, приподнял от доски обеспокоенное и смущенное лицо: ”Бога ради, простите, может, это невежливо для первого знакомства, но и эту партию вы проиграли”.

Когда-то меня еще не было, и только оплодотворенная материнская яйцеклетка, постепенно набухая, обещала стать мною. Природа (с заглавной буквы) еще сомневалась, какой пол определить мне, и, подозреваю, я чуть было не стал девочкой, во всяком случае значительное присутствие именно женского начала всегда сильно чувствовалось во мне: в детстве тайком я наряжался в голубое бумазейное платье, украденное у соседской девочки, слабоумной и слюнявой бедняги, умершей вскоре после моей кражи от белокровия; в раннем, еще довольно бесполом отрочестве у меня было несколько закадычных подруг, которые так свыклись с моим постоянным присутствием, что без стеснения при мне сковыривали друг у друга прыщики с атласных симметричных ягодичек, хранивших следы плетеных соломенных стульев, бывших тогда в большой моде; юношество омрачилось попытками – когда наглыми, когда робкими – гомосексуалистов поближе сойтись со мной; они прямо-таки кишели вокруг меня, и однажды – по неопытности, излишнему доверию и любопытству – я согласился посетить дом одного из них: заперев множество дверей, он шептал, обжигая раскаленными губами мое ухо, что бывает любовь-жалость, любовь-эрос, каритативная любовь и любовь-влюбленность, но давай попробуем, – говорил он, – среди этих восковых изваяний (удивительно, я ни в чем не угадывал воска, кроме одной изуродованной свечи), давай попробуем не согласиться с Бердяевым и самостоятельно отыскать истину, ну, давай, давай же! – орал, беснуясь, он мне на ухо, и, кажется, откусил его – было больно, отовсюду лилась кровь, хотя не было больно, и крови тоже не было, а Николай Александрович, задумчиво поглядывая на окошко, в котором уместилась самая соблазнительная, самая выпуклая часть свежей луны, продолжал аккуратно писать: ”Жизнь пола в этом мире дефектна и испорчена. Половое влечение мучит человека безысходной жадью соединения. Поистине безысходна эта жажда и недостижимо соединение в природной половой жизни. Дифференцированный сексуальный акт, который есть уже результат космического дробления целостного, андрогенического человека, безысходно трагичен, болезнен, бессмыслен. Сексуальный акт есть...”

Кажется – лишь на интуицию опираюсь я в этом, – мать когда-то хотела разродиться лишь дочерью, и, наверное, в каждый новый вечер своей мистически долгой, почти бесконечной беременности уходила подальше от случайных взглядов и случайных шагов, и в одиночестве часами ощупывала живот, пытаясь пальцами познать все тайны плода, заключенного в ней. Иногда ей казалось, что она нащупала ушко, мигающий глазик или вполне различимую ручку, которая сможет когда-нибудь вполне сносно пробежать по золоту арфы, и на люди выходила тогда с просветленным мечтающим лицом, отвечая на участливые вопросы, что вот, мол, жду дочь, она немного запаздывает, но скоро придет, она – арфистка, не то чтобы очень знаменитая, но тем не менее добилась довольно выгодного ангажемента и будет выступать во французской Опере; вы же знаете про французскую Оперу, это – самое большое театральное здание Парижа, построено Шарлем Гарнье в 1861–1875 годах в оживленном, светском квартале, но ей как-то возразили, сухо сказав, что каждой плодоносной женщине, разумеется, приятно иметь дочь-арфистку, однако развитие зародыша во время внутриутробного периода – явление странное и малоизученное, так, например, извлеченный на свет Божий в различные фазы своей эволюции, зародыш может удивить неприятным сходством с рыбой или птицей. "Как, я могу родить птицу?" – удивлялась и негодовала мать и уже чувствовала, что ее живот стал силком, ловушкой или – яйцом: вот-вот натянута кожа у пупка должна была треснуть, лопнуть, дать свободу скользкому угловатому птенцу, остренький клювик станет клевать ее в грудь, требуя молочка, и мать возражала – нет, что вы, какие там птицы или рыбы! – а ей показывали картинки из научной книги, и она с ужасом видела в скрытых тельцах очертания и рыб, и птиц, и снова – птиц, и вот уже вкус перламутровых перьев ощущала она во рту, и, ощупывая живот, чувствовала когтистую сморщенную лапку, несколько куриное крыло, какую-то там гузку или хрящеватый киль. Она – стараясь выглядеть бодрой и вполне легкомысленной и поделилась с кем-то своими опасениями, и кто-то ей рассудительно ответил, что, полноте, какие там еще птицы, но все-таки не следует забывать о разных неприятных сюрпризах: новорожденный может оказаться с маленьким, наподобие кошачьего, хвостиком или иметь, скажем, восемь сосков, шесть пальчиков, одну ручку, два сердца, три почки, четыре, пять, снова – шесть, семь, восемь, – уже было, девять, десять, одиннадцать... и к этому еще птичье лицо, огромное, с глазами навывкате по бокам, с ржавым громоздким клювом, с раздутым лоснящимся зобом. И лицо, звонко щелкая каменными губами, вдруг скажет...

Когда-то, а именно в 1777 году, в результате пари графа д'Артуа с Марией-Антуанеттой архитектор Белланже за три

месяца выстроил в глубине Булонского леса дворец Багателль. Думается, время – в эти годы, по мнению историков, происходил бурный кризис французского абсолютизма – для пари было выбрано не совсем удачно, но спорщиков, учитывая их возраст – графу только-только исполнилось двадцать, королеве – двадцать два, – можно понять, тем более что обоим им была свойственна одержимость. Но если д'Артуа, которого Манфред называет взбалмошным и своенравным мракобесом, главарем банды головорезов и убийц, невежественным и высокомерным грубияном и задирой, солдафоном с узким и озлобленным умом, прожил долгую, насыщенную хитрыми и интересными интригами жизнь, успев превратиться в короля Карла X, то Марии-Антуанетте повезло значительно меньше – в тридцативосьмилетнем возрасте ее, под оскорбления и брань толпы, возвели на гильотину. Королеву жалко, она – по мнению Мирабо – была "единственным мужчиной" в семье своего мужа, короля Людовика XVI, добродушного и слабохарактерного человека, обожавшего охоту и столярное ремесло. Под звуки охотничьих рожков и повизгивание рубанка она, как умела, боролась с демократией и по-своему способствовала падению Тюрго и Мадерба. Но тем не менее ее жалко: она была безупречной супругой, мужественно держалась на допросах и на казнь пошла со спокойным насмешливым лицом. Судьба, награждая Марию-Антуанетту мучениями, не поскупилась и на ее сына, Людовика XVII, который, по настоянию конвента, воспитывался в семье башмачника, и, не царствуя, умер от физического и нравственного истощения в возрасте десяти лет.

II

Далее так: Вадим Иосифович Кублицкий, согласно скупым обмолвкам матери, ее давний случайный знакомец, по профессии – неудавшийся художник, но хладнокровный и умелый шахматист, своими ежевечерними победами смог вызвать ненависть со стороны Андрея и медленно бурлившее раздражение, которое вызывалось и заволосенным лицом Вадима Иосифовича ("мой удел – ходить с бородой Лаокоона", – говаривал он) и частым запахом ментоловых капель, какими Кублицкий ублажал капризы больного сердца, заставлявшего его иногда вскакивать и задыхаться по ночам, – на следующий день приходил он тогда с торжественным скорбным лицом, жаловался на то, что еще побаливает грудь и шевелился тихо и осторожно, словно боялся ту боль разлить, расплескать.

Постепенно зима шла на убыль, и снег с длинными ранними вечерами тоже шли на убыль, и Кублицкий перестал быть ненавистным, и не раздражал, как прежде: Андрей незаметно привывал и уже привык к Вадиму Иосифовичу, и если раньше ожидал его приходов со злорадным предвкушением отыгрыша

(так никогда и не случившимся), то теперь не ждал Кублицкого вовсе, зная, что тот неотвратим, как и пресная вечерняя темнота, во многих местах прожженная огнем освещенных окон, как и налившийся холодом воздух – приходилось закрывать форточку и открывать дверь, в которую с опаской заходил Вадим Иосифович, заранее сконфуженный своей новой приближающейся победой. Кажется, попривыкла к Кублицкому и мать; как-то врасплох застав ее глаза, Андрей отметил, что они спокойны и теплы, что теперь громоздкая фигура Вадима Иосифовича не столь чужеродна и непроходима для них, как это бывало прежде, но углубляться в размышления не стоило – снова руки Кублицкого, поколдовав над доской, поставили лукавых ловушек, некоторые из которых были разгаданы, а некоторые только предстояло разгадать. “Зам шах, Вадим Иосифович”, – несмело говорил Андрей, видя с восторгом, что впервые за все время их напрасных, но азартных игр у него забрезжила надежда на выигрыш, и замечал с недовольством, как скучно лицо Кублицкого, со скучным любопытством разглядывающее мать, которая последние дни или недели уже не скрывалась в своей комнате за сухим хворостом страниц, и также скучен был его ответный ход, сразу же лишавший Андрея всех надежд хотя бы на ничью, и он с огорчением думал: “Снова напрасно все, мне не перехитрить, не переиграть Кублицкого, не познать тонкостей этой заманчивой и задумчивой игры, в которую – только кажется мне это! – с таким упоением и упрямством играю я, ведь все роли давно расписаны и распределены Режиссером, чьи руки, с хрустом разорвав пергамент облаков, утащат, похитят навсегда любого самозванца, выскочку, какой пытается вмешаться передвижение фигур”.

В снах ли, грезах (а может, это было в действительности так?) видел Андрей, как Кублицкий и мать, очертаниями своих гладких тел удивительно похожие на шахматные фигуры, едва касаясь ногами расчерченной в белую и черную клетку равнины, медленно уплывали прочь, и он пытался догнать их, остановить, но ноги, обутые в неприятные шутовские башмаки с бубенчиками и загнутыми носками, скользили и разъезжались, а некто громовым голосом требовал назвать пароль – какие-то магические слова или числа магические, и Андрей, беспомощный и смешной от шутовских башмаков, от припудренного парика с буклями и косицей, от синяков, неслышно расплзавшихся по изнеженной коже, кричал, что пароль – это тройка, семерка, туз, или, может быть, семьсот семьдесят семь (777); его не слушали и не слышали, и мать с Кублицким не слышали тоже, хотя он все-таки догнал их и умолял, чтобы они обратили на него внимание; не обращали, уплывая по-прежнему вдаль, не обращали, тихо переговариваясь между собою на непонятном, но знакомом языке, а когда на пути их внезапно появился десятилетний мальчик-сирота, безмерно истощенный нравственно и физи-

чески, Вадим Иосифович, порывшись в глубоких карманах, угостил его конфетой. "Merci", – сказал мальчик и умер. – "Que veut-dire ce mot?"* – не спросил Андрей.

Приходил Кублицкий и вчера, и вчера, и даже – вчера, иногда – с одноцветным лицом, значит, ночью опять было что-то с сердцем: припадок, удушье и так далее; иногда – со свежей пушистой бородой – грудь не болела и ничего не болело, и тогда Вадим Иосифович, расставляя фигуры, мог расщедриться на какой-нибудь короткий рассказец из своей жизни, например, от одиночества завел он себе собачку небольших размеров с мягкой шерстью. Приходил Кублицкий и сегодня, и сегодня было уже темно за окном, он собирался восвояси, и мягко шлепал себя по карманам: ничего не забыл?

Пришел Кублицкий и сегодня. Андрей расставил фигуры. Кублицкий, сильнее обычного пахнувший ментоловыми каплями, долго прилаживал на бородатое лицо очки, а они располагались как-то криво и все норовили упасть, и измучившийся Вадим Иосифович, придерживая их руками, молча, с каким-то непонятым изумлением долго разглядывал доску, и, наконец, поднял беспомощные глаза: "Андрюша, вы меня простите, но нынче никак не могу". Тут очень не вовремя из трещины в туче повалил мокрый, хлюпающий, наверное, последний в этом году снег, и мать со вздохом сказала Кублицкому, чтобы он не боролся со своим пальто, не подзывал, согнувшись, свои разбежавшиеся ботинки. "Я вас чаем попою, – сказала она, – даже от шахмат иногда бывает полезно отдохнуть".

Все было подстроено, все было ловко подстроено: внезапный снегопад, когда на некоторых деревьях уже надулись почки, успокаивающий запах ментола изо рта Вадима Иосифовича, его нежелание лишней раз продемонстрировать шахматное ухарство, тот новый скользкий журнальчик, с писком вылупившийся час назад из почтового ящика, неожиданное беспокойство матери и так далее, теперь уже и не вспомнить, что было подстроено еще, ну, еще, наверное, та тишина, которую вдруг услышал Андрей, лежащий в своей комнате в обнимку с журналом; он вдруг услышал тишину, мягким потоком льющуюся из гостиной, он стал подслушивать тишину, и, наконец, недоумевая, на цыпочках подошел к двери и резко распахнул ее: за столом, за дымящимися чашками, за тарелкой с нетронутыми миндальными пирожными целовались Кублицкий и мать, целовались со старомодной старательностью, отрешенностью и глухотой. Продолжала грохотать уже распахнутая, уже неподвижная дверь, грохотало сердце, грохотали воробьи за окном, где давным-давно кончился снегопад, а из той же трещины в туче натужно выползло плоское солнце, но Кублицкий и мать ни-

*Что означает это слово? (франц.)

чего не видели и не слышали, потому что была непроницаемая тишина, и чтобы основать ее, разбить, Андрей бросил на пол чашку: лицо матери вынырнуло из бороды Вадима Иосифовича, белое и чужое лицо.

Он бросил на пол чашку, но того резкого, отчаянного звона не получилось, осталась тишина, еще больше сгустилась тишина, мгновенно ставшая продолжением всего того, что находилось в комнате, и, значит, его самого – тоже, и по этой тишине, ало поблескивая солнцем, расползавшимся уже по подоконнику, тихо ползла слеза, которую мать вытерла со своей щеки. Андрей хотел сказать: "Голубки?", Андрей хотел сказать: "Ах, вот так!", Андрей кажется, сказал что-то, но рот его сделал три беззвучных движения или шесть беззвучных движений, хотя, может быть, рот заорал истошно – кто знает? – ведь тишина была, тишина, и мать закрылась ладонями, а Кублицкий встал, одернул пиджак, несколько раз дернул горлом, будто громко и смущенно откашливался.

Не произнеся ни слова, я готов... Я готов на все, я готов рассказать об одной улице, которая неведомо как оказалась подо мною. На ее левом берегу стоял мой дом, и три окна нашей квартиры светились обманчивой безмятежностью. Прохожие – а их много было здесь – не удивлялись, откуда на этой привычной для них улице такой непривычный дом, такой непривычный я, не удивлялись и почти не замечали нас, и лишь нищие – бездомные, безногие и безглазые грели свои замерзшие руки – красные пальцы; синие ногти – у моих пылающих щек, и лишь любопытные, наглые и праздные останавливались, чтобы поглядеть на меня, и даже – потрогать ватные ноги, заглянуть в грудь и живот. Потом, сверкая черным жиром своих выпученных глаз, подошел злобный мясник, окровавленный, страшный, с карманами, оттопыренными дюжиной говяжьих пупков; он бранным словом отогнал нищих, он замахнулся на любопытных и праздных, и, оставшись передо мною один, с привычным безразличием полез ко мне в грудь и живот, где продолжало жить сердце, и я испугался, что мясник схватит его, маленькое и кувыркающееся.

Я боялся, что мясник подцепит мое сердце ловким ногтем, и поэтому побежал или побрел на мертвых ватных ногах, а мясник брел или бежал следом и что-то там клянчил или угрожал. Затем мои ноги кое-как ожили и нагрелись, и я уже по-настоящему побежал, а мясник, вспомнив, что лавка осталась без присмотра, с проклятиями остановился, но я все бежал и бежал, пока на каком-то смрадном углу меня не подкараулил многопудовый и многоколесный грузовик, который медленно, под испуганное завывание толпы, наехал на мое часто дышащее тело; пришлось медленно и мучительно умирать по дороге в больницу, а в больнице – с мужеством и достоинством воскресать, отворачивая

забинтованную голову от худой материнской руки, которая протягивала седой ворсинчатый персик.

И еще доктор приходил, молодой и уста.

– Меня зовут Семен Львович. – Простите?.. – Семен Львович, что ж тут непонятного? – Но Львович – это фамилия или отчество? – Конечно, фамилия. Меня зовут Семен Львович Львович.

И еще доктор приходил, молодой и усталый, его звали Семен Львович Львович, обнимая мать за плечо, он шептал ей на ухо: "Еще рано, рано его беспокоить, пусть затянется рана, пусть хоть немного окрепнет", и, не прекращая объятья, выводил ее из палаты, в которой, кроме меня, излечивалось еще множество людей: юношей и мужчин, отроков и отроковиц, стариков и старух, женщин и детей.

Доктор выпроваживал мать из палаты, а через мгновение или через ночь возвращался, успев еще кому-то спасти и сохранить жизнь, и на четвереньках начинал искать персик, мгновение назад или ночь назад скатившийся с материной ладони, и находил его на полу или отнимал у желтозубого рычащего старика. Кинув на меня тусклый от бессонниц взгляд, Семен Львович Львович начинал пожирать находку, макая подбородок в разверзнутую мякоть, а потом добирался до косточки, твердой и морщинистой, и, сильным языком обсосав ее со всех сторон, показывал пациентам, назидательно говоря: "Вот так-то, дорогие мои". Когда-то потом, мгновение, ночь или персик спустя, доктор пришел в палату в красивом балетном трико – плавные линии мускулистых бедер, шаровидные колени, изящные породистые лодыжки, – и с удовольствием станцевал нам, показав несколько изумительных по чистоте антраша. Еще когда-то потом – стояла густая чернильная ночь – он разбудил меня, снял бинты, скovyрнул корки с ссадин и ран, шелковым носовым платком с латинской монограммой промокнул сукровицу и кровь, длинными пальцами высморкал мне нос и сказал тихо, чтобы никого не потревожить: "Вот мы и подлечились, а теперь, голубчик, домой". "Мой!" – гаркнуло в ответ громкое эхо, и все тотчас же проснулись, зашевелились, пораскрывали рты для таблеток; желтозубый старик снова зарычал; отроки и отроковицы разбежались по своим постелям; мужчины портили воздух; а я, бледный и измученный после болезни, долго примеривал чужие, пахнущие карболкой, одежды, остановившись наконец на маленьком уютном камзольчике из красного фландрского бархата, испачканных дорожной грязью панталонах и вонючих ботфортах с поломанными шпорами. Сжалившись надо мною – ночь продолжала наливать черными соками, а наш приют находился за городом, среди густого сада, принимаемого неискушенным путником за парк Сен-Клу, – сестра милосердия или сестра ордена кармелитов

одолжила мне низкорослую лошадку, кажется, мекленбургской породы. В кармане камзола я обнаружил несколько зеленых монеток – су, копеек или сантимов, – и отдал их моей благодетельнице, которая помогла мне взобраться на лошадь, и, держа ее под уздцы, проводила меня до выхода из нашего густого сада. ”Берегите себя, юноша”, – напоследок сказала она.

Я берег себя, я держал наготове тяжелый мушкет, и думал, что порох все-таки сыроват, и вполне вероятно осечка, но в ту ночь Бог миловал меня и всего лишь однажды мне пригодилось умение метко стрелять – негодяй, вынырнувший из-за угла церкви Сен-Жак-ла-Бушри с тонкой полоской луны на длинном кинжале, рухнул, корчась, на землю, по которой стелился пыльный серый свет – оказывается, уже успела наступить весна, оказывается, текли медленные предвечерние часы.

По земле – шершавый асфальт с вьезшейся парой трамвайных рельсов – суетливо сновали самые разнообразные ноги, обутые в черные войлочные ботинки с металлическими застежками, зашнурованные кожаные штиблеты на толстой гуттаперче, женские – модные в этом сезоне – туфли ”сальмазо”; на земле же валялся пьяный с разбитым окровавленным лицом, которое пересекала застывшая мокрая улыбка; чуть выше собачка с задранной лапой почти что парила над лужицей собственной мочи; некрологи в газетах сообщили о безвременной кончине (от заражения крови) балетного премьера; рыча, тронулся с места грязный и желтый грузовик.

Рыча, тронулся с места грязный и желтый грузовик. Было жарко, в спешке и волнении Андрей схватил с вешалки горячее, совсем невесеннее пальто, и теперь подумал несмело, не переодеться ли ему перед тем, как уйти насовсем из отчего дома, перед тем, как умереть, например. Он позавидовал почившему балетному премьере, который навсегда теперь обезопасил себя от Кублицкого, от унижительных проигрышей, от электрического звонка в дверь. Это вы, Вадим Иосифович, здравствуйте и проходите, я еще не знаю, чего ожидать от вас, не знаю, не знаю...

Но вопреки его невеселым размышлениям, все довольно-таки благополучно выглядело вокруг: снующие пешеходы были помечены скукой, умиротворением и тем или иным признаком банальной радости по поводу того, что сегодня настоящая весна, по-настоящему тепло – впервые в этом году погода расщедрилась на длинную красную полоску на всех оконных термометрах; модницы постукивали по высохшему асфальту туфлями ”сальмазо”; пожилой красавец офицер в маленьком чине, одетый лишь в китель, покупал с лотка фруктовое мороженое; женский голос радостно тарабанил в пустоту: ”Наверное, так нельзя говорить, но твои новые зубы тебе очень к лицу, Михельсон-молодец, постарался, правда, теперь изо рта у тебя

пахнет зубным креслом”; чумазые мальчишки по очереди прыгали через окровавленного пьяного, который уже проснулся и, лежа, подбадривал прыгунов; девушка – продавщица из ближайшей кондитерской задумчиво ела на ходу пирожное телесного цвета, вероятно, украденное; соседский сочинитель, сидя у окна в своем полуподвале, грызя колпачок автоматической ручки, выдувал из нее очередную, с грубым австрийским акцентом, мысль, и, закончив абзац, довольно ерзал на стуле, давая возможность воображаемому соглядатаю заглянуть в написанное через плечо: речь шла о всех тяготах в преодолении инцестуозных фантазий в период полового созревания, об опасностях предварительного наслаждения, о грубости инверсий и прочей психоаналитической галиматье. И только Андрея не замечали или не хотели замечать здесь, и колючие стебли ревности быстро оплели сердце. Его не спрашивали: “Кого и к кому вы ревнуете?”, и он не отвечал, что ревнует владелицу женского голоса к дантисту Михельсону (хотелось промокнуть сердце и сильной рукой отбросить белый, в красный горошек, носовой платок): его здесь нет и, быть может, никогда и не было, а фамилия громко произносится на всю улицу, и вон даже та омерзительная старуха с флагом уже орет что есть мочи: “Ура! Виват! Bravo, исцелитель Михельсон!” Ему не возражали: что ты, никто не кричит, напротив, все молчат, все набрали в рот воды, от которой раздуты щеки и слезятся глаза, но глотать воду жалко, потому что жажда всех мучает, посмотри, собака слизывает влагу со вспотевших за ночь камней, а новый караван с водой придет только через неделю, и за это время никто не проронит ни слова, никто не проронит ни капли. Подошел глухонемой и знаками поинтересовался о времени. Андрей посмотрел на запястье, где две черные черточки тщательно изображали часы, и как можно спокойнее ответил, что пятнадцать минут, и глухонемой пожал плечами и равнодушно пошел прочь, не затеявая бессмысленного спора, конечно, не пятнадцать минут, и не двадцать, а не менее получаса стоял Андрей под своим домом, и ни один сукин сын не поинтересовался, отчего так странно все: горячее, совсем невесеннее пальто и так далее. Так странно все: он выскочил из дома в твердой решимости куда-нибудь бежать и бежать, чтобы никогда не возвращаться сюда, но ноги внезапно омертвели и позволили ему сделать лишь один неуверенный шаг, он хотел лечь под машину или умереть от заражения крови, но мысль о самоубийстве свернулась, как лукавая кошечка, и перед тем, как уснуть насовсем, уютно зевнула, подразнив заманчивым багровым небом.

Прошло пятнадцать минут, и двадцать, и менее получаса, и более получаса, и более многих, свитых в одинаковые кольца, часов, а Андрей оставался неподвижным и молчаливым, прислушиваясь к ленивому прибою собственной крови, и редким

ударам сердца, к недовольному урчанию желудка и спазматическим подергиваниям голодных кишок. Ветер дул сегодня со стороны кондитерской, и от запаха сдобного теста с орешками хотелось чихнуть, заплакать или попросить милостыню; как назло, совсем недалеко остановилась передохнуть старушка – странница – шла со Святой Земли, из Палестины, из Иерусалима: присела на камушек, на чистую холстинку выложила нехитрую снедь, перекрестилась, открыла мягкий беззубый ротик. "Поделитесь Христа ради", – хотел он тихо сказать, но старушки уж и след простыл, лишь воробьи склевывали крошки с панели. Попробовал мимо пройти мясник с куском жареной баранины, но на мясника воображения не хватило – слишком хотелось есть.

– Андрей, твоя любимая утка! – как ни в чем не бывало крикнула из окна мать, и сразу весь город зашевелился скорее, словно потревоженный муравейник: стали чаще скрещивать ноги пешеходы, у всех машин поотказывали тормоза, дома на четной стороне накренились вправо, на нечетной – влево, прибежал запыхавшийся мясник: "Что? Что, уже?" Андрей грубо сказал ему, что помнит его дерзкие и мерзкие пальцы, которые без спроса забрались под одежду, под кожу, под душу и норовили все вывернуть наизнанку, но теперь я голоден и силен, и не позволю, слышите, не позволю! "Ну зачем же сразу так, – испугался мясник, – вот давайте я лучше вам предложу свиные отбивные на ребрышках, деликатес, знаете ли, деликатес, а сверху еще укропчиком посыпать, лучком зеленым, вот будет объединеньице, пальчики оближешь, язык проглотишь и так далее, словом, вы и сами знаете, только прошу, о том, что случилось когда-то, никому ни слова – огласка принесет моей торговле непоправимый урон. Ну, пообещайте, прошу вас, готов встать на колени, видите ли, лукавый попутал, ведь все от лукавого".

Андрей, не слушая его, быстро пошел прочь, и снова мясник брел или бежал следом, и снова что-то там кланчил или угрожал. Сильно и уверенно вошел Андрей в свой подъезд, кинув по привычке в холеную ладошку швейцара какую-то мелочь. Швейцар от благодарности грохнул каблуками, выпятил живот и хамски улыбнулся, швейцар от благодарности преградил путь мяснику: "Куда прете, батенька!", швейцар запер изнутри входную дверь, погасил все огни и включил ночь.

В кромешной темноте долго пришлось ждать старого, зарешеченного, как тюрьма, лифта, который никак не спускался, а лишь клацал и клацал между этажами, словно где-то там, наверху, защелкивались кандалы на руках у невольников, и вот, наконец, появился первый из них, истерзанный кнутом, опутанный цепью, смотревший с любовью на грубого стражника с факелом. Стражник почтительно поклонился Андрею: "Ваше сиятельство, к утру все эти каналы, будут казнены. Отечество снова вздохнет свободно". Лестница кишела от людей, истер-

занных кнутом, опутанных цепями, смотревших с любовью на грубых стражников с факелами, которые вежливо кланялись Андрею: "Ваше сиятельство... Казнь состоится в точно обозначенное на афишах время. Просим не опаздывать, у вас первый ряд, девятое место. Все разглядите в подробностях, если желаете – в гардеробе под небольшой залог можно взять театральный бинокль. Приходите вовремя, аншлаг".

– Мерзавцы, негодяи, – бесновался Андрей, – вы проникли тайком в мой дом, вы затеяли грязную интрижку. Я отменяю казнь, мы повелеваем...

– Да куда там, повелевают они, – вдруг вмешался швейцар, – вам маменька утку приготовила, ну так и идите трапезничать, а мы тут без вас уж как-нибудь.

Прибыл лифт. "Внимание отъезжающих..." – заголосило радио по-женски; носильщик в белом фартуке пронесся с тележкой; "Обещай, что напишешь, как придешь на место, сразу напиши, а то я умру, сохну, закоченею от ревности, – просил мужчина в сером габардиновом пальто, – ах, какой же я растяпа, забыл отдать цветы, но так и знай, отпускаю тебя в последний раз", Андрей зашел в лифт, там размещалось добротное двухместное купе пульмановского вагона, уже пропитавшееся насквозь сладковатыми запахами лжи, бесчестья и банальной супружеской измены. Сидел отстранясь от окна, чтобы не быть замеченным, гладко выбритый тоненький хлыщ, который, срезая кончик у громоздкой сигары, прошептал насмешливо и утомленно: "Вера, кончай антимионии разводиться, а то, чего доброго, твой олух ворвется сюда. От ревности коченеет он, вот умора". Но Вера, наполовину высунувшись в окно, антимионий не прекращала, давала мужу в габардиновом пальто целовать ей руки, слушала с удовольствием все новые и новые его признания в любви, в верности и так далее, и хлыщ, видно, уже привыкший к подобному, забрался сзади к ней под длинное платье, и жадно ласкал Верины ноги, и она в ответ сгибалась и разгибалась спину. "Вера, я вижу, как заволочился твои глаза, тебе же не хочется уезжать, тебе хочется остаться, хочешь, я вытащу тебя прямо из окна!" – кричал муж на перроне. Ему шепотом ответил раскрасневшийся хлыщ, с трудом отрываясь от гладких Вериных ног: "Додумался. Нет уж, дудки". Муж за окном шептал тоже: "Я тебе стихотворение напоследок прочитаю", и Вера злым и тусклым – от прекратившихся ласк – голосом сказала, что пусть читает, только скорее, скорее, ведь уже третий звонок, кажется, был. "Не уезжай, твое исчезновение в моей душе оставит горький след, ну как мне быть без глаз твоих оленьих, ну как мне без тебя встречать рассвет..." – Ах, опять ты за свое, хватит, довольно уже, – недовольно прервала его Вера.

– Ты мне не пообещала... Обещай, что напишешь, как придешь на место, сразу напиши, а то я умру, сохну, закоченею от ревности.

– Ну обещаю, обещаю...

– А этого ревнивца вполне можно понять, – задумчиво произнес хлыщ, возвращаясь к сигаре, – в Вере есть что-то такое, все линии ее тела перекрещиваются под такими неожиданными, такими соблазнительными углами. Помнится, в первый раз я сам чуть не спятил.

Поезд между тем давным-давно ехал, остановившись только на мгновенье, чтобы выпустить задыхающегося Андрея.

Сен-Клу – великолепный парк, раскинувшийся на левом берегу Сены у выезда из Парижа в сторону Версаля. Парк Сен-Клу – все, что осталось от дворца, уничтоженного пожаром в 1871 году. В 560 году Клодоальд, внук короля меровингской династии Хлодвига, отказавшись от трона, основал здесь монастырь, где и умер. Место это в его честь назвали Сен-Клу. Брат Людовика XIV Филипп Орлеанский приобрел здесь значительные угодья и в 1676 году соорудил дворец, возвышавшийся над Сеной. В 1785 году все та же Мария-Антуанетта откупила поместье у Орлеанской семьи. В 1799 году во дворце Сен-Клу был совершен переворот, в результате которого вся власть перешла в руки Наполеона Бонапарта.

III

Казалось, еще только вчера...

Казалось, еще только вчера было 19 брюмера, и Бонапарт, еще не до конца смывший египетский загар, на безмятежной и гордой лошадке въехал в Сен-Клу, чтобы окончательно убедить депутатов Законодательного корпуса в том, что страна в опасности, что уже вызрел гнойный заговор, и лишь только он, генерал Бонапарт способен выпустить гной, найти мир, обрести новые победы, отменить нищету. Те, кто верил еще позавчера, вчера вдруг потребовали твердых доказательств, но генерал, подверженный приступам внезапной слабости, сумел пролепетать только невнятную речь, вспомнив некстати и Кромвеля, и Цезаря, а потом и вовсе едва не был избит негодующими якобинцами, которые раскричались не на шутку: "Вон его! Долой! Диктатор! Мошенник!" Судьба его висела на волоске, но очень вовремя вмешался Иохим Мюрат, генерал, но сын кабатчика, а поэтому – кабатчик и сам, найдя способ, восхищающий своей простотой: негодующие и сомневающиеся в Бонапарте депутаты спасались через окошки, донельзя напуганные вязкой и угрожающей дробью барабанов, в которые усердно колотили тупые исполнительные гренадеры, могущие меткостью своих выстрелов удовлетворить самого взыскательного ценителя. Но стрелять не понадобилось.

Казалось, еще только вчера судьбы окружавших его людей всецело зависели от него. У него спрашивали соизволения на

казнь, швейцары и лакеи надламывались в животах, отворяя двери с хрустальными стеклами и медными ручками, зимой у подножки кареты постилали ковер. Еще вчера личный портной низверженной королевской четы с гнусным подобострастием преподнес ему щегольский генеральский мундир, у которого тщательно были расчесаны густые эполеты, до солнечного сияния начищены пуговицы, и даже – весьма трогательно – заранее приколот помпезный орден.

И снова вчера, только вчера он ехал в одном купе с прекрасной блудницей Верой, и даже сумел подсмотреть ее соитие с тоненьким хлыщом: Верино гладкое рыжее тело мелькало в такт с перестуком колес. Хлыщ оказался прав: в обнаженной Vere была своя, неизъяснимо чарующая геометрия, и так хотелось обессилевшей, засыпающей ладонью повторить, обвести весь рисунок целиком.

Сегодня же стало ясно, что расстрел отменить не удалось, и станция, на которой стоял Андрей, была заволочена горьким пороховым дымом. Лежала убитая лошадь, валялась перевернутая пушка, мародер, тяжелый от награбленного золота, прошмыгнул в кривом переулке, сновали солдаты из похоронной команды. У Андрея сухо потребовали документы, и он возмутился, что, у вас глаз нет, ведь только вчера у меня спрашивали соизволения на казнь, вышколенные слуги надламывались в животах, неся на подносах подогретое красное вино, Вера через голову стягивала кружевное платье и так далее, что, у вас глаз нет? Сумасшедший, юродивый, – также сухо сказали, – отпустите его, пускай идет себе. Я уйду, но я вернусь, – погрозил сухому голосу Андрей, и медленно шел внутри кривого переулка, в котором только что поймали мародера, только что повесили его: вздувшееся фиолетовое лицо, вывалившийся язык, кусок использованного мыла на земле.

– У него помутился рассудок, – грустно сказали про Андрея, – бедняга. Но его можно понять: убитые люди, убитые лошади, ядовитые запахи выстрелов. Помнится, в первый раз я сам чуть не спятил.

– Это было уже, я про это слышал уже, – возразил Андрей, – была красивая Вера с рыжим несминаемым телом, был ее совратитель, и когда поезд вырвался за городскую черту...

– Не надо про это, – просили его, – ведь ты еще совсем мальчик. Лучше подумай о том, что тебя уже давно ждет мама, она раскрыла окно и радостно позвала обедать, или – судя по сумеркам – ужинать. Она сказала: "Андрей, твоя любимая утка".

– Тогда я попрошу вас, чтобы вы проверили меня, я заблудился, заплутал. Ведь только что была знакомая улица посреди знакомого города, а теперь – тесный кривой переулок, звуки и стоны дворцового переворота. Проводите меня.

Его проводили; кривой переулок выводил к старому, как зарешеченная тюрьма, лифту, в котором, оказывается, он уже

ехал давным-давно, остановившись с клацанием на нужном этаже.

Он опасался, что дорога наверх заняла слишком много времени, и теперь уже ночь, все спят. Чтобы не разбудить никого, он попробовал открыть дверь своим ключом, но оказалось, что замок сменили, и его старый ключ был мал новому замку. Пришлось звонить.

– Это вы, Андрей, здравствуйте и проходите, я еще не знаю, чего ожидать от вас, не знаю, не знаю...

– Не продолжайте, прошу вас. Я узнал, я догадался, вы – Вадим Иосифович Кублицкий, вы разговариваете моим голосом и моими словами, на вашем лице маска, но вы играете чужую роль, и поэтому – я повелеваю, нет, простите, я прошу, я умоляю: давайте прекратим эту жестокую игру, мне не по силам соперничать с вами. Вы – победитель.

Но дверь пока не открывалась, а потом все же открылась, совсем по-незнакомому, без протяжного пенья петель. Кублицкий, Кублицкий в полосатой пижаме, с розовым распаренным лицом, босиком, с полотенцем на шее. "Проходи, я сейчас заканчиваю", – сказал он и на цыпочках, оставляя мокрые дымящиеся следы, убежал в ванную комнату, где громко хлестала вода, где медленно переворачивался тяжелый пар.

"Ну, и где же ты был?" – хмуро поинтересовалась мать, и Андрей ответил, что не был, а была: была Вера без платья, была Венера без рук, была сложная, как вязь, паутина, дворцовая интрига и упоительные мгновенья неограниченной власти. "Что ж об этом теперь говорить, – с сожалением добавил он, – я вернулся, вот он я весь". Появился Вадим Иосифович, пахнущий мылом и водой, весь гладко причесанный, от лба до подбородка. Он одобрительно похлопал Андрея по плечу, вступился за него: "Дело молодое".

Действительно, была жареная утка, беспомощно лежащая на спине, с огромной дырой между ног, и Кублицкий, крикнув с азартом и восхищением: "Вот это я понимаю!" засунул в дыру жадную ладонь, и принялся выгребать горячую гречневую кашу, потрошки какие-то, и ладонью же раскладывать все по тарелкам.

"Пошляк, пошляк, Боже, какой все-таки пошляк", – с отвращением, тихо, но отчетливо произнесла мать, закрывая лицо руками, и Кублицкий, перекошенный от снеди, которую неряшливо затолкал себе в рот, перестал жевать, перестал хрустеть чем-то там, встрепнулся, замер: "Ты что-то сказала, милочка?" "Да, я сказала, – ответила мать, – вернее – процитировала одного восточного мудреца, говорившего, что в любой женщине никогда не исчезает кормилица, и сейчас мне приятно смотреть на двух едящих мужчин". "Умна и добра, – снова зашевелился Кублицкий, – а коли так, то сообрази нам что-нибудь хряпнуть", – и она голосом доброй нянюшки ответила, что осталось еще

немного коньяку, но, Вадим, доктор Львович просил тебя не увлекаться этим, только не сердись, прошу тебя, да-да, конечно, повод есть, я тебе еще не говорила, Андрей, Вадим Иосифович теперь будет жить у нас.

– Мы будем ездить с тобой на рыбалку, Андрей, мы будем ходить с тобой в баню, мы будем ползать по-пластунски, летать по-птичьи, плавать по-рыбьи, мы перепробуем все формы существования белковых тел, – оживленно говорил Вадим Иосифович, – мы бы, бы, бы, бы, бы, мы, бы, – подавился, закашлялся.

Мать всполошилась, засуетилась испуганно: "Он же умрет, кусочек пищи попал в дыхательное горло, ах, что же делать, он уже синее, ну неужели и в самом деле умрет, это надо же, всю жизнь ждала, и теперь, когда счастье наконец улыбнулось мне одними уголками губ и я поверила в справедливость, помогите же кто-нибудь..."

– Я помогу, – прохрипел Кублицкий, страшно выпучив глаза, – поставьте меня на голову – преграда освободит дыхательный проход, и я снова стану веселым и счастливым.

Они – Андрей и его мать – долго переворачивали Кублицкого, поддерживали дергающееся тяжелое тело, а он, уже полумертвый от удушья, недовольно кричал: "Ох, какие же неумехи, ничего попросить нельзя". Несколько раз Вадим Иосифович, кое-как установленный на голову, с грохотом, словно подпильенное дерево, падал, сбивая с ног мать, чье нарядное платье, одетое по случаю утки, было уже порвано в нескольких местах, и круша громоздкими ногами в фасонистых армейских башмаках их тщедушную мебель: распозались, как у неопытного конькобежца на льду, ножки журнального столика, из разодранной обивки дивана поползли изогнутые черви пружин, стул замер в позе, напоминающей реверанс. "До того, как помереть, он разнесет нам всю квартиру", – сказал Андрей матери, очередной раз поднимая Кублицкого, а тот вдруг перестал давиться и синеть, и чрезвычайно ловко прошелся ко комнате на руках, успев вставить в рот губную гармошку, на которой бодро заиграл известный цирковой мотивчик.

Андрей с возмущением повернулся к матери, Андрей хотел сказать, что Кублицкий – фигляр, он обманул наше доверие, наше сострадание, но мать, неведомо когда переодевшись девицей из варьете, превесело отплясывала, выстреливая ногами в ажурных чулках из-под сборчатой юбки. "Это мы оба придумали, – сквозь танец, перекрикивая гармошку Кублицкого бросила мать, – долго думали, как развеселить тебя, и, кажется, получилось, а?"

Выплюнув губную, зубную, горловую гармошку, Вадим Иосифович крутанул сальто, и, нет, не разбил себе голову, не свернул шею, а лишь люстру задел – в разгромленной комнате

замельтешило все, – и, приземлившись на ноги, замер в дуршаливом поклоне.

– Смех, смех, смехота, оп-ля, дрица, тра-та-та! – крикнул он, заканчивая выступление.

А ведь прошло всего несколько часов, веков или строк, я не знаю, сколько прошло, но еще сегодня, до прихода Кублицкого, мы с матерью радостно обсуждали долгожданное потепление, и она, ласково взъерошив мне волосы, говорила, что теперь и до фиалок недалеко, и до их поездки на дачу тоже недалеко, а, оказывается, все ее слова, ее молчание, ее смущенный взгляд в зеркало, в котором слегка пошевелилось дерево, росшее за окном, были притворством, обманом, ожиданием поцелуя, столь ловко осуществленного глубоким ртом Вадима Иосифовича.

Ах, какой же ловкач и умелец – это я о Кублицком, – он играет в шахматы и на губной гармошке, бродит по дорогам с колдуньей, угощает мятой мятной конфетой истощенного мальчика, в котором, если приглядеться, так много моих черт: например, эти глаза в пуху ресниц, наши одни на двоих глаза. У меня сохранилась фотокарточка, на которой я, надув пузырь щеки, готовлюсь задуть сразу десять свечей на праздничном пироге; якобы ненароком я подложу карточку под пальцы Кублицкого, и он выдаст себя тем, что привычно потянется к карману. Благодарю вас, Вадим Иосифович, но я не ем сладкого и мятного. Спасая положение, Кублицкий достанет из кармана ментоловую таблетку от сердца. Bravo, Вадим Иосифович.

Дрожь унялась, осталась слабость и боль в ногах, будто было проделано трудное путешествие или даже – путешествия. Он вернулся довольно неожиданно, и поэтому обогнал некоторые из своих последних писем. Завтра, послезавтра, а может, через неделю мать разбудит его к завтраку и за столом скажет, что только что получила теплый, еще не остывший от рук почтальона конверт, и уже вскрыла его. ”Ты так все чудесно описываешь, я прямо-таки вижу эти достопримечательности, – скажет она, – но самое замечательное в том, что я сразу могу уточнить некоторые детали. Вот, скажем, ты пишешь...”, а он все стоял на улице, грубой и широкой под ногами, и узкой и раздвоенной, словно язык змеи, где-то вдали.

Вместе с предвечерним туманом на улицу медленно опускалась мать с заплаканным, сложенным из острых незнакомых уголков, лицом.

– Я все понимаю, – тихо сказала она, – если можешь, извини меня. Он давно ушел. Он больше никогда не придет.

МОСКВА-ХАРЬКОВ

В кассах Курского вокзала мне говорят, что билетов на ближайший поезд нет, и я решаю ехать так.

Выбираю скорые. Ближайшие – "Москва-Запорожье".

Народу немного, но сразу ясно, что этим поездом не уехать. Не возьмет поезд. Он – неприступен. У дверей вагонов молодые проводницы сияют огненными взорами и серьезно относятся к порученному делу. И есть небольшая брешь – самостоятельная женщина, которая возьмет, но во мне нет нужного состояния. Я как-то робею что ли, в последний момент, чем вызываю легкое разочарование, и поезд уходит нетронутым. Жестко постукивая на стыках. К месту приписки. Не запятнавший себя.

"Москва-Сухуми" – нехороший поезд", – такое слышал однажды. Он стоит на четвертом пути. На пятом – экспресс "Дагестан". Не в один, так в другой. Мне все равно, тем более что ясно: "Москва – Сухуми" уезжает. Пожилые тетки, лаская корыстными взглядами, гонят меня вдоль состава, сожалея о нехватке мест.

Проводница, похожая на всегда не любившую меня учительницу, берет уже по инерции.

– Посиди до Тулы. Там придумаем что-нибудь. Только в проходе не стой.

Бреду по вагону и захожу в приглянувшееся купе.

– Свободное место есть?

– Есть, пока с билетами не пришли.

Это говорит мне женщина Тоня. Ей лет тридцать пять. И волосы распущены. А в обычной жизни она их, вероятно, убирает. Смотрит по-особому, внимательно. Похоже, ей хочется убежать от чего-то. А приходится скучать. Беседует с молодым человеком. Молодой человек, скупаемый недостойными желаниями, дает принципиальные оценки разным недостойным явлениям в нашей жизни. Тоне все больше скучно, и от этого речь молодого человека становится все убежденнее. Скоро он устанет и пойдет к проводнице договариваться насчет места. Ляжет на отведенную полку и будет спать всю ночь, как убитый.

Появляются пассажиры с билетами – две пожилые грузинки и мальчик. У них много вещей. Помогаю разложить их по полкам. Они выясняют, что я без билета, и несколько настораживаются, расценив, кажется, мое поведение как угодливость. Сажусь в уголке и пытаюсь дремать. Женщины говорят по-грузински между собой, но, видно, я не даю им покоя. Старшая поворачивается ко мне вскоре и, полагая, что у нее вполне вышла приветливая улыбка, спрашивает, где я думаю спать.

Отвечаю, что проводница еще со мной не разобралась, и выхожу в коридор.

В коридоре много беспризорных. Смотрю в окно. Из последнего купе выходит молодая женщина и тоже смотрит в окно. Потом смотрит на меня, а я на нее. Она отворачивается. Я опять смотрю в окно, а она на меня. Еще раз встречаемся глазами, и я отворачиваюсь. И еще долго мы стоим и смотрим в окно. Поезд все никак не может выехать из Москвы. Женщина уходит в купе и больше уже не выходит оттуда.

Иду курить и допускаю досадную оплошность – даю втянуть себя в разговор молодому слесарю из СМУ. Ему в Тулу. У него какие-то приятные воспоминания, и он многословно их переживает. "Ой, ты себе не представляешь, что было. Я просто обалдел..." Пытаюсь говорить, хотя понимаю, что ничего не выйдет. Смотрю в окно. По тропинке смешно идет мужчина в красной рубашке. Иногда оборачивается так, словно у него за спиной рота на марше. К слесарю не пробиться. Улучив момент, говорю, что пойду с проводницей разберусь, иду в начало вагона для виду, а потом сажусь на откидной стульчик дремать.

В Скуратово, оказывается, подсели две девушки в джинсах. "Девки подсели", – так выразилась проводница, и теперь вокруг них в коридоре суета. Возле них Саша, поселившийся в служебном купе, и к ним же приближается мужчина при деньгах, у которого только что не вышло с другими девушками в вагоне-ресторане. Отчего выпил так крепко. Он ввязывается теперь в разговор, уцепившись за слово "грузин":

– Слушай, при чем тут грузин? Что ты так говоришь – "грузин"? Я вот грузин... и т.д.

В этой же кучке оказывает и Тоня. Она загадочно улыбается. Девушкам до Орла. Саша приглашает всех к себе.

За Тулой проводница вспоминает обо мне и ведет к себе в купе. На верхней полке спит принципиальный молодой человек, а нижняя – в два раза короче. Вторую половину съел шкафчик.

– Вот тут ложись. Ничего больше нет.

Ложусь. Укрываюсь и еду. За стеной пьют и гудят. Проводница там же. Частенько она заходит что-то взять из шкафчика. Вспоминаю, что не ел с утра, говорю:

– Может, у тебя там хлеб есть?

Проводница уже "вмазала", раздобрела и обещает угостить. Уходит и пропадает на час.

За стеной громко болтают и едва не поют. И мне кажется – я все вижу, что там происходит. Девушки угощаются и "крутят динамо", Саша, сильно пьяный, не скрывает своих намерений, уверенный в успехе, как всегда. Грузин "протащился" на Тоню и ужасно разозлился на всех, потому что Тоне тут не нравится. Чтобы не делать ничего резкого, она пьет теперь, желая зажечь в себе искры безумных надежд.

Проводница опять заходит. Вспоминает про обещанное, дает хлеба, яйцо и наливает водки. Не хочется, но пью. Она интересуется, есть ли у меня деньги, и мы рассчитываемся. Не удовлетворенная суммой, говорит, что вздремнет до Орла и заваливается спать на мое место.

В Орле выходят девушки в джинсах.

– Что за город такой? – шутит Саша в тамбуре.

– Орел называется, – отвечают девушки. Саша им безразличен.

Он берет у них адреса.

Тоня хочет покинуть купе, а раздосадованный неудачей грузин ловит ее руками и ругается последними словами. Тоня все же вырывается и садится в коридоре. Саша долго уламывает ее и наконец уводит обратно.

Сажусь у шкафчика на тряпки, сваленные на полу, и еду так некоторое время. Потом слоняюсь по вагону и курю.

Курск. Поезд въезжает в пределы Южной железной дороги. Бужу проводницу:

– Курск!

– Ах, етить твою мать, – отзывается она и идет работать.

Ложусь и мгновенно засыпаю.

Просыпаюсь уже за Белгородом. Потом стою, глядя в окошко. Там мелькают знакомые платформы.

Саша выпускает Тоню из купе и угощает меня сигаретами. Настаивает, чтоб я взял побольше. Тоня смотрит по сторонам усталыми глазами. За окном родной город. Втягиваемся в вокзал.

Проводница открывает дверь и протирает тряпкой поручни. На соседних путях красуется обогнавший нас "Дагестан".

Уже совсем было выйдя из вокзала, почему-то оборачиваюсь и смотрю на запыленный поезд. В голове его, в окне ломокотива машинист сверкает лысиной и скалится. Вот светофор зеленым сигналом поманил его растревоженную остановкой душу, он оживляется, двигает реостатом, мягко трогает и уводит поезд на юг, туда, где горячее солнце.

НЕНАВИСТЬ

Сообщук удачно женился, и больше я его не видел.

Губернатор уехал в Америку, и там потерялся.

Бескубенко стал министром культуры (Украины).

Рабочая попала под поезд и лишилась ноги. Возникла впоследствии как депутат, а маньяк ее изнасиловал и убил тут же.

Тамара Пестицид и Татьяна Площадь выпили вина и, решив, что лучше им уже не будет никогда, выбросились из окна.

Такой человек, как Прокопенко, – вовсе без лица – по профсоюзам пошел и растворился.

Горбачев теперь – Генеральный секретарь.

И что?

А вот что: сижу недавно дома, ем финики и косточки в угол выщелкиваю. Пустота, мрак, холод, шизофрения! Счастья нет! Ни на грош! Женщины меня десятой дорогой обходят. Давно. Боятся. Вид больно страшный: на лице щетина, на туловище пальто (ему лет сорок уже, этому пальто). За маньяка меня принимают, идиотки. Думают: раз пальцы дрожат, так обязательно от старости. А мне просто опохмелиться не на что, вот в чем дело! Вещи распродал, семью бросил, ненавистью исхожу, но существую, расту (внутри как-то).

И вот сижу я по-турецки на дощатом своем полу, последний финик доедаю и вспоминаю, как однажды заходит ко мне приятель юности Ибрагим, садится словно ни в чем не бывало на табуретку напротив меня (причем у меня табуреток уж давно нет, он у соседей занял) и давай разговаривать.

– Ну, как ты? – говорит.

Как будто не видит.

– Ничего, – говорю, – видишь?

И косточкой от финика норовлю ему в глаз попасть. А он так вежливо, как будто не заметив моего намерения, с табуретки встает, по комнате прохаживается, чтоб мне трудней было точно выстрелить. И уклонился-таки незаметно. Попал я ему только в воротник пальто. Со спины. А он сделал вид, что не заметил. А сам – кандидат наук, философ, друг профессора одного, стихи читает!

– Слушай, – говорит, – а тебе доводилось когда-нибудь сперму на анализ сдавать?

– ???

– Очаровательная процедура.

– Зачем это?

– Бывает нужно. Представь себе: симпатичная девушка (медсестра), у нее белые пышные волосы, небесные совершенно глаза... Да! В белом халатике... И у не в руках такая белая палочка. Нежнейшая кожа, пальчики...

– Ну? И дальше?

Ибрагим прищурился слегка, потом продолжил:

– Дальше она говорит: подойдите сюда, ближе, приспустите брюки. Ты подходишь, встаешь лицом к ней. Извлекаешь все наружу. Она...

Опять пауза.

– Да. Она дает тебе в руку пробирку и говорит: повернитесь, раздвиньте ягодицы...

– Ну?

– Ты вставляешь член в пробирку, а она – нежнейшей ручкой

– вводит тебе в задний проход эту белую палочку, пер анус, так сказать, и куда-то там надавливает...

– Ну?

– Минуты три! Обильно! Радостно! Ты заполняешь пробирку. Невиданный совершенно оргазм!

– Понятно. А дальше?

– Отдышавшись, я поворачиваюсь, отдаю пробирку и говорю: Спасибо! Вы доставили мне столько радости! Что вы делаете сегодня вечером? Не проведем ли мы этот вечер вместе? Вдвоем? Если вы к тому ж захватите с собой эту волшебную палочку, наслаждения наши не узнают границ...

– А она?

– Покраснела и выбежала. Сказала, что милицию позовет.

– Понятно.

А Ибрагим уже, смотрю, собирается. Пальто застегнул на все пуговицы и – прости-прощай.

С той поры я его не видел. Как сгинул. Зачем, спрашивается, приходил? Кажется, его потом собаки разорвали.

Сперму он видите ли сдавал!

Точно! Собаки. На городской свалке. В клочки!

БЕЗ НАЗВАНИЯ

(эюд)

Женщина в автобусе обращается к задумавшемуся мужчине:

– Вы выходите?

Он неожиданно серьезно относится к вопросу и начинает рассеянно кивать:

– Да, да...

Он смотрит в пол.

– Я еще подумал, стоит ли. И вот вижу, что – надо. Вот вы спросили, и я вижу – надо. Во что бы то ни стало, как бы ни было трудно, всегда следует поступать так, как считаешь правильным! Теперь я вижу это! И хотя мне невыразимо трудно идти в чужой теперь дом – так следует поступить. Что делать – надо! – Что это на вас болтливость такая нашла? – спрашивает женщина язвительно.

– Да? – мужчина обращает на нее внимание и произносит капризно: – Да?! Да?! А на вас находило когда-нибудь такое? Бывало такое?! Доставало ли?!

– Что?! Да никогда со мной такого не было, не будет и быть не может. Никогда! Потому что я вас ненавижу всех! Всех ненавижу!

– Гадина!

– Гад!

Хватают друг друга за волосы и начинают борьбу. Водитель останавливает автобус и весело говорит в микрофон, рассматривая пассажиров в зеркало заднего обзора:

– Товарищи! Как это называется? Ну, посмотрите внимательно.

Это...

Пассажиры вытягивают головы и дружно, в единодушном порыве, отвечают:

– Любовь!!!

Борьба продолжается.

– Сука!

– Кобель!

Реплики дерущихся.

Водитель, удовлетворенный, включает передачу, автобус трогается и весело катит дальше.

ЧУЖОЙ СУД

(отрывок из повести)

Старт: первые метры беспроектной гонки.

Старт: среди бегущих, среди летящих, среди всех движущих себя – лишь победители. Их узнаю по белым одеждам, их узнаю по отсутствию номеров, их не могу не узнать по камням, которые они скрывают в своих золотых устах; в своих устьях без устали и страха.

Старт: энергия и воля, воля и концентрация.

В рождественском гаданьи на 83-й год мне были предназначены, предсказаны, предположены: скитания, срочная карьера и женщина: видимо – Лиса, видимо – Москва; и – хочется надеяться – третья, "О которой прекраснее молчать". Пройдет совсем немного, совсем немного – и метро не станет. Может, подземки, и той не станет. Но пока я здесь, пока напряжение – 680, и главная линия – кольцевая, нужно запомнить эти пыльные переходы "сегодня": в метро грязно, в метро пыльно, в метро скучно и грустно.

Но есть в метро одна станция, которая не объявляется, которая расположена на мосту через одноименную гранитную реку, станция быстрых улыбок и вытянутых шей. "Володины горы": здесь раздвигаются стены, здесь мы узнаем о времени года, здесь видим ряд уютных окошек с позерами и скитальцами, торопящимися в тот коридор, из которого и мы оголимся лишь на секунды...

Чтобы изобразить, а не описать, боюсь, не хватит мне дыханья. Поэтому – вдох глубокий, губы шире: это зима, это лыжник замер в воздухе, а чуть выше кто-то скользит в самолетной сандале на босу ногу, согнув "другую ногу" в колене (чтоб вы не перепутали: метафора), неторопливо скользит прочь от тех мест, где Володя несет свою снежную строительную службу; где он дремлет, подняв воротник бушлата, в армейском грузовике – по ночной Москве. И он вдруг открывает глаза – от мысли, простой и приятной: "Сегодняшний день я прожил не зря". И что такое "зря", он не знает, он торопится записать свою "мысль", он, рохля, думает, что придумал себе двухгодичное испытание. 24 месяца Володя посвятил осознанной несвободе, и грузовик развозил его каждое утро, как кирпич, как одного ущербного, лишнего из блока мыслящих кирпичей. И вот он открывает глаза от своей залежалой мысли и видит Дом Студента на Вернадского, чуть ли не освещенный прожекторами, в ореоле антисандалных красных огней. Представь озеро с утками, представь девочек-иностранок, посылающих воздушные поцелуи заспанному воину в позорном стройбатском треухе.

Воин сдвигает шапку со звездочкой на неуставной затылок, воин открывает рот для изысканного английского комплимента, но грузовик встает на дыбы и прощально игогокает вслед удаляющемуся зеленому свету: это чурки, это дураки проклятые высовывают свой мясистый кирпичный язык; матерясь призывно, безнадежно, трехрядно; это тоска дорожная, кирпичная, пылью оседает на приблизительного воина, барахтающегося на заплеванном полу грузовика без шапки, но с чувством Дороги. Потому что было впечатление, что этого безалаберного, этого придорожного все время как бы за легкую ниточку кто-то потягивает сверху – из канав и обломов. Потому что и всем нам показалось тогда, что мы выпрыгиваем из-за бортов вонючего армейского грузовика. Дембельской весной 85-го Володя поехал через станцию "Володины горы" и – видел краем зрачка, как двинулся лед, и – поступил в МГУ, и – вселился в храм ДСВ, где и провел два года незаметно.

Изгнанник стучится в строку, не зная кода.

Изгнанник деловито гонит по жилам ямбическую кровь.

Код: упругие шаги по ступеням.

Код: взгляды с балкона высокого.

Код: банальные слова забытого языка.

Иногда меня спрашивают, как должно быть устроено справедливое общество. Я смотрю в окно горизонтального лифта; я вижу Володю Каменного, все ступающего угрюмо вдаль с концом света в кармане пальто; я говорю: "В руках у юноши уместна лопата; ребенок – да летает; старик – да листает свои календари, да читает свои газеты, да на фиг ему сдались мои победные пожелания!" Еще меня спрашивают, чем отличается Володя от львуна. "Ха, – говорю я, не задумываясь, – ха, конечно, лбом". Володя, он же полдневный, обеденный, помятый; на лбу у него выдавлено: "Подготавливаться и примериваться". Львун – утренняя изморозь и роса, и воля и слышишь, как она рыдает? – "возвышаться и предписывать".

"Идея! Идея?! Иде я нахожуся?" Тише, Володя, тише! Это жанр свиданий, это станция "Гора и мышь". Здесь новостройка, здесь львунский дух – здесь место вашей встречи. Вы в разных поездах, и поезда в разных направлениях, и поезда здесь не останавливаются. Но раз в два года можно выбить себя из кирпичной стены, как зуб; можно выплюнуть себя из моря языков – на кромку прибора; можно размечтаться об эгоизме вдвоем – пока чужие лица не начнут проступать изнутри.

Раз в два года на то берегу неисповедимой реки. – Иль это только снится мне? – Раз в два года в сверхзвуковом воздухе с реактивным лыжником. – И клад и смысл, и образец подобья. – Раз в два года "поезда не спрашивают моего имени". – И сын всматривается в офицера кирпичных войск (швобода мысли), и отец видит преподавателя мертвого языка (швобода действий). И кто здесь сын, и кто здесь отец?

Здесь, как сказали автору, лежит, развалившись, грустная и бледная про-блэма. Ведь Володя нарочит и апломбичен: "Ссынуля!" Когда утром – в час Дракона – львун исчезает полетать-поплавать, Володя спит и видит целлюлозный сон о приходе-на-смену: примкнутые штыки, чеканные лица, 210 решающих шагов: будущее наше великолепно, и обильно, и длинно: лай, ласточка, лай!

Господи, неужели по этому олуху будут судить обо мне после смерти? Ведь он только записывает, высунув язык, львунский рассказ, только рисует букочки – и скушно, скушно поневоле: слабыми словами – о львунском кино. Да ладно уж, вернемся к баранам, к бисеру, к университету. Экая нынче в Африке жара! Жестоко ты есть противу рожна прати. Экий жираф изысканный все бродит у этакого озера! – Почему здесь все звучит, как приказ? – Такое странное время, как здесь. – Мне нужен отклик, отзвук, отклик: "Уо-Уо" –Пора на север!

О небесном расскажите мне с кафедры, о небесном поведайте мне в аудитории поточной, о небесном – в мегафон, в матюгальник, в створки потолка. Здесь – не было осенних стройбатовских канав, но было склизкости осюсенье. Здесь – портяночная вонь околоточной диалектики вдыхалась грудью полной и вольной. Здесь – Володя-львун – как поезда – разошлись-разминулись – Где.

Вздых: Чому ж я ни сокил?

Вздых: где мои штанишки?

Вздых: сломались крылья в саду у дяди Вани, у дяди Вани в саду – сломались крылья.

Кто мог что-то сказать ему, моему львуну? Он бесштанное, бесшандальное детство – за плечами он.

Вовка-морковка заигрался в интеллектуальную р-революцию, в священную войну: воистину всякий воюет с каждым за право раздавать имена, и смысл-утрата угрюмо носится в безымянном потоке – на своих порванных крыльях. Задницы мертвых языков сгустились над Володиной рекой, а он все считал свои маски, а он все ждал, что кто-то порадует бледным лицом за его попугайскую стаю: ну какой же я ам! амбивалентный. Но львун – издавек уже: "По улице ходила большая крокодила. Она, она! – зеленая была".

Вовочка-пришмантовочка суетится по концертам, выставкам и вечерам, знакомится со всеми студентками-иностранками, тусует в необозримом количестве всяких объединений, центров и фондов. И львун в загоне, и каждое утро – фонетика, фонатика. "На сегодняшней лекции мы продолжим завоевательные войны Римской империи". – Так ли хорошо знаешь ты собственный язык, чтобы учиться чужому? – Стать сэлфмэйдмэном мечталось вчера, но сегодня лингвистический дебил смотрит на протянутый ему язык с ужасом: "Ай донт кноу, вот ду ю вонт от меня!"

А львун – еле слышно: "Если много выпить из бутылочки, на которой написано "знание", можно ослепнуть и онеметь".

Вовец-ездец: Сюда я больше не ездун, не ездюк. Пусть дохлых языков исступленные проповедники трясут на меня перстами. Их Волга впадает в Хвалынское море, их овес кушают неуловимые ненужные твари. Если я *принимусь* знать столько, сколько они, я побоюсь плыть и постесняюсь надеяться. Конечно, мне нелегко будет избавиться от своего филологического солнца – подземного, метростройного, тайного, – но если мальчик Диоген искал в сумерках здесь – человека, то мне нужен только львун, и кино львунское будет перпендикулярно и радиальным кротовым ходам, и всей кольцевой системе бомбоубежищ, и на станции "Университет" львун будет каждый раз спрашивать: "Чему можно научиться, кроме себя?"

И захлопывается окно, и стираются настенные фрески, и – это ли мое детство, его прощальный кивок?

Лифт: живет своей странной жизнью.

Лифт: везет меня, куда я не хочу.

Лифт: открывает свои двери внезапно, и я не знаю, где; и я не успеваю выйти; и – опускаюсь ли я, поднимаюсь – у кого спросить?

Заброшены крылья лестницы, забыты прогулки у Волшебной горы; клавиатура отеля "Риц" нажимает себя сама – и нет нам места на солнце, и нет нам покоя после того, что будет, и нет прощенья от сестры-ведьмы: где мы были, когда она решила прыгнуть с крыши? Мы стараемся уснуть, мы пробовали видеть сон о нашем высоком тереме, о всех его гробах на колесиках, о всех его винтиках, мечтающих о небесном.

Сестра плачет: могла разбиться.

Сестра смеется: забыла свое колдовство.

Сестра: совсем как живая... Это сказано запретное слово и все повторяется, как в ту ночь: сестра бьется об пол и превращается в лисицу, и собаки гонят ее до двенадцатого этажа; а на последнем этаже собаки хватают лисий хвост, и лиса превращается, и смерть объемлет едущих в лифте по своим смертельным делам.

Лифт наш – время и место: пульсирующее внутреннее пространство, стремящееся к нулю; створки перед носом; стрелки за плечами; нету Карибских морей, нет хода к отраде, нет отрады. Ветер сестры пронизывает до костей, снег сестры падает сквозь: Бог простит нас, что мы не поняли его мудрости. Бог не обидится на три буквы, торопливо накарябанные на стенках лифта: будет еще черед нашему альпинистскому снаряжению; будет время забрасывать победный крюк на следующую ступень; будет временное при-станище кочевой культуры; зря ждет меня моя лодка; Володя суетится между этажами, между временами, а у львуна вообще никогда не будет дома; львуном можно мерить небо, море и радость – от одной тысячной до недости-

жимой единицы. Но с львуном не сваришь каши, не спрячешь хвосты. В нем "смысла", в нем прока – не может быть: не было и нет. А'м сэд. Но Володи разводят свои костры на площадке перед лифтом, но соседи спотыкаются об Володины тазы с кашей; растет коллекция ключей и штанов; неуклонно увеличивается польза; третья несвобода сменяется седьмой осенью; кто-кто в тереме живет? кто-кто в безотрадном живет? Никто не погиб без решения погибнуть. Никто не знает, кто такой Голяк. Двигаться дальше, двигаться выше, двигаться быстрее: Приговор. Вслушиваться в стыдливый топот рынка: Приговор. Торопливо и сбивчиво, сбиваясь и задыхаясь, судите сами: Приговор.

САМСОН

(Самсон в плену)

Я подавил инстинкт самцовый,
Я изнурил в работе плоть.
Меня, как силача Самсона,
На рабство осудил Господь.

И унижению подвергнув,
Без милосердия к бедняку
Обрек вертеть служебный жернов,
Молоть бумажную муку.

И я мелю... Неделю, третью...
Не увильнешь. Вошедший в раж,
За пустячок огреет плетью
Филистимлянский злобный страж!

Когда-то был я юн и весел,
Не уважал чужих богов,
Срывал повязки с женских чресел
И выжигал сады врагов.

Равно – дубина или дротик,
Кинжал или заряд пращи.
Эй, выходи вперед, кто против,
Да завещанье настрочи.

Когда ж по глупости впервые
Попал я в западню врага –
Ломал я черепа и выи
Ослиной челюстью стиха.

Все в прошлом... Крутится мой жернов,
И я – как приводный ремень,
И день в Шеол кровавой жертвой
Опять сойдет без перемен.

(Самсон и Далила)

Я жду, чтоб розы дня угасли
И сумрак землю оковал,
И как осел усталый в ясли,
Бреду к себе на сеновал.

Я ужин ем – но хлеб мой горек;
Ложусь – но сон от глаз бежит.
А частокол высок, и дворик
Всю ночь охрана сторожит.

И вот, я вижу на лежанке,
Почти реально, будто встарь,
Нагое тело чужестранки
Во тьме желтеет, как янтарь.

Я простираю руки с ложа,
Я чую теплоту плеча...
Но демоническая рожа
Уже исчезла, хохоча!

Мне сердце ярость опалила,
Мне душу ненависть сожгла...
Но где изменница Далила
И в женщинах ли – корень зла?

(Жалобы Самсона)

Я зарабатываю пищу
Безмерным потом и трудом.
Моя одежда – веретище,
И жалок мой тюремный дом.

Мои мучители привыкли
К тому, что я – покорный мул.
Напиться бы, да нету сиклей.
Не по карману мне разгул.

Что в этом мире мне осталось?
Зачем поклажу дней влачил?
Как эфа, подползает старость.
Ее укус неизлечим.

Мои глаза успели выцвести,
Морщины иссекли чело,
И, как строительная известь,
Мне солнце спину изожгло.

Я одинок и духом слабну.
Попробуй, тысячи осиль!
Где след моих деяний славных?
Все замели песок и пыль.

Где результат набегов прежних?
А время точит серп о брус.
Равно умрут святой и грешник,
Сойдут во мрак герой и трус.

Но не успеешь оглядеться –
Заря взошла на небеса,
А утром травы пахнут детством,
И ноги леденит роса.

И гнев захлестывает горло,
Бросая навзничь, и душа...
Как масло, что давно прогоркло,
Готова к подвигу душа.

(Храм Дагона)

Зачем, Господь, злодеям выдал?
Когда свершишь свой правый суд?
Ведь рядом храм, где медный идол,
И люди дань ему несут.

Там под надежною охраной
Жрецы обслуживают знать,
И воины стоят у храма,
Чтоб недовольных в шею гнать.

Там словоблудят на амвоне,
Беспутничают по ночам,
Не богу служат, а маммоне,
Не бедноте, а богачам.

И жарят жертвенное мясо,
И потчуют себя вином,
И сотрясаются от пляса
И ходят стены ходуном.

А к бедным людям по ступеням
Порой нисходит душ ловец,
Чтоб их морочить сладким пеньем
И темной магией словес.

Упились славою и хмелем!
Не храм – Гоморра и Содом.
Едва ль не все, что за день смелем,
Съедает непотребный дом!

(Видение Самсона)

Однажды ночью (как отважусь
Я рассказать об этом сне?
Какую ощущаю тяжесть!)
Знаменье Божье было мне.

Готово сердце расколоться,
И мысли спутались в клубок...
Мне снилось: Я на дне колодца
И мрак бездонен и глубок.

И вырыт был колодец в глине,
И руки упирались в грязь,
И жабы копошились в тине,
Совокупляясь и плодясь.

Я задыхался от зловонья,
Я был беспомощен и слеп...
Ночь немоты и беззаконья
Меня покрыла, словно склеп.

И я услышал голос горний,
Гремевший, словно медный гонг:
"Чем будешь ты, Самсон, покорней,
Тем будет злей к тебе Дагон.

Коль хочешь славы ты, не срама,
Коль ты не трус, а смелый муж –
Войди, Самсон, под стены храма
И на себя его обрушь!"

Ночь унесла свои полотна,
Гудел в ушах небесный глас...
Проснулся я в поту холодном,
И слезы потекли из глаз.

Я позабыть приказ не вправе.
Я меч в деснице неземной.
Ведущий к гибели и славе
Мой путь определен не мной!

(Самсона ведут в храм)

Коварный план мой разум дразнит.
Недолго ждать. Мне дали знать,
Что будет юбилейный праздник,
И позовет Самсона знать.

Весть расползется, как проказа,
И горожан сведет с ума,
И к храму устремится Газа,
Бросая лавки и дома.

Я причинил урон им, каюсь.
Я их не жаловал, восстав:
Лисицы к ним в сады спускались
С зажженной паклей на хвостах;

Унес из города ворота,
Тузил их челюстью, сердит...
Но от взбешенного народа
Меня всевышний оградит.

И будет гвалт велик и страшен,
И беспокойство матерям...
Но путь в толпе проложит стража
И проведет меня к дверям.

Войду, гремя тяжелой цепью,
И храму должное воздам,
Дивясь его великолепью,
Нарядам полуголых дам.

Рассядутся купцы и власти,
Окружены толпою слуг.
Кто победней – наверх залазьте,
Смотреть через чердачный люк.

Пусть саранчой облепят кровлю,
Пусть важничает их кумир...
Я зрелище для них готовлю,
Каких еще не видел мир!

(Разрушение храма)

От смеха содрогнутся стены,
Слух резанут хула и брань...
"Пред идолом склони колена!" –
Мне крикнет жрец воздавши длань.

Тогда я предкам уподоблюсь,
Что жили вольные, в шатрах,
И вновь во мне разыграет доблесть,
Перемогая смертный страх!

Шагну вперед.
Отскочит стража,
Гостей в испуге растолкав.
И лопнут, как гнилая пряжа,
Оковы на моих руках.

И крики ужаса услышу...
Но, не вступая в лишний спор,
В те два столба, что держат крышу
Упрюсь – и сдвину их с опор.

И будут люди падать с кровли,
И разом обратясь в зверей,
Помчатся прочь, скользя по крови,
Давя друг друга у дверей.

Самсона этим не растрогать!
Он чашу униженья пил.
Мне будет музыкою грохот
Летящих балок и стропил.

Мне этот грохот слаще лютни,
Милее бубнов и виол...
Чем храм полней и многолюдней,
Тем больше вас сойдет в Шеол!

(Эпилог)

Все подытожит свод, обрушась,
Сравняв навек
Господ и слуг.
Исчезнет храм, вселявший ужас,
А землю перепашет плуг.

Я заплачу за это кровью,
И обо мне пойдет молва,
И люди на моем надгробье
Такие высекут слова:

”Когда наглеет нечисть вражья,
Перекрывая все пути, –
Яви, как он, пример бесстрашья,
Погибни сам – но отомсти!”

Из повести "Кинорежиссер"

Сидел тут как-то в комнате на диване, смотрел на себя со стороны, странное дело получается: пока сидишь, смотришь спокойно – все хорошо; то справа, то слева заглянешь, то сверху, то снизу зайдешь, можно даже глаза закрыть – все равно все видно, картина целая как-то так сама собой в голове вырисовывается: как будто бы в какой-то комнате на диване сидит молодой человек, такой довольно приятный на вид, опустил голову и думает о чем-то своем, размышляет, может, даже смотрит сам на себя со стороны, но вот стоит только пошевелинуться – молодой человек куда-то исчезает, ноги там только или руки какие-нибудь по краям остаются, туловище тоже куда-то вниз уходит, кончик носа перед глазами появляется, и бровь откуда-то сверху свисает, а ниже – сбоку – диван, край стены, угол комнаты, занавеска, окно, а за окном – если встать и посмотреть – дома стоят, деревья шумят, солнышко светит, люди какие-то куда-то идут, женщины красивые... и что самое главное – одновременно и на себя и в окно никак посмотреть не удастся, в окно помотришь – о себе забудешь, на себя начнешь смотреть – в окно ни черта не видно... но как же быть? невозможно же все время сидеть на одном месте да только и смотреть на себя самого со стороны... а поесть там или хотя бы попить захочется? сразу же ведь еда какая-нибудь или питье появится, ложки всякие полезут, вилки, тарелки, стаканы, стулья, столы, а может, даже деньги, улица, гастроном, очередь, касса с кассиршей, прилавок с продавщицей, нарезающей тонким и длинным ножом масло или колбасу, а то ведь еще, не дай бог, какие-нибудь старые пальто, пустые карманы, мелочь, бутылки там или банки, тоже пустые, и снова магазин...

Нет, можно, конечно, не то чтобы все время смотреть, а как бы время от времени, делая там что-нибудь, за собой поглядывать, следить как бы со стороны: еще там что-нибудь такое, например, а сам себе и говоришь: а ведь это ты мясо-то ешь, ты хлеб маслом намазываешь, ты в магазин бежишь, в очереди стоишь, до того уж, видно, докатился, что бутылки пустые сдавать приходится, денег, что ли, себе на жизнь заработать не можешь? а еще что-то там хочешь – смотришь куда-то там, поди сперва себе на хлеб заработай, а уж потом и смотри!

Хотя, что в этом тогда такого особенного-то? что в этом такого необыкновенного? я ведь это и сам за собой знаю, без всякого там подглядывания или подсматривания со стороны... конечно, сколько ты там на себя ни смотри, денег от этого все равно не прибавится, скорее даже наоборот...

Хотя, конечно, с другой стороны, когда-то где-то там говорилось уже, что, мол-де, не одним только хлебом, маслом или там мясом каким-нибудь живет человек, есть у него и другое...

Тут вдруг звонок – телефон зазвонил, подхожу, в трубке женский голос...

– Здравствуйте.

– Здравствуйте, – говорю...

– Это с вами такая Рая говорит. Помните, мы еще с вами гулять ходили?

– Конечно, – говорю, – Рая. Что вы, конечно, помню.

– А вы сейчас заняты? – спрашивает.

– Да нет, – отвечаю, – не очень!

– Нельзя к вам сейчас приехать? я бы, – говорит, – с вами поговорить хотела, там, об одном...

– Конечно, – говорю, – приезжайте!

– А как до вас добраться?

Дал я ей свой адрес, объяснил, как ей ко мне пройти, повесил трубку, а самого так прямо в дрожь и бросило, – фу-ты, думаю, черт! Вскочил с места, заходил из стороны в сторону, забегал, – поняла, значит, все-таки, почувствовала, кто есть кто, и тебя, думаю, пробило наконец! а голосок-то, голосок-то у нее какой! боже ты мой, слабенький такой, тихий, а что-то в нем есть такое, где-то там, внутри, под словами, даже и не объяснишь, необъяснимое что-то в самом выражении... и главное – так действует, что прямо дух захватывает, только держись, ноги даже как-то слегка задрожали, в груди что-то такое сжалось и живот как-то немного свело, бурчит, черт его подери! – как бы не опозориться в самый ответственный момент! я ведь очень хорошо знаю, когда у женщин голос-то такой бывает, они ведь мне уже звонили такими-то голосами! ведь когда у них такой голос – считай, что уже все, все позволено, наплыв, можно сказать, чувств, делай, мол, со мной все, что хочешь, я твоя... вот черт! – что же делать-то? ведь тут, может, скоро такое будет, что и подумать-то страшно, может, не стоило бы сегодня, а?.. может, на другой день перенести, а? другое время назначить?.. хотя, какое другое? другого-то времени больше не будет, да и поздно, поздно... подъезжает, наверное, уже...

Только спокойнее, спокойнее... волноваться не нужно, что уж я так, действительно, разволновался-то?.. ведь не какой-нибудь уж я там совсем маленький мальчик... ведь было же это у меня... и не раз... нельзя, конечно, сказать, чтобы часто, но ведь было же... вина вот только в доме никакого нет, это плохо! и сбежать не успею... а то ведь с вином как-то легче, спокойнее, напряжение что ли какое-то излишнее снимает... вот, в прошлый-то раз, с той-то, тоже помню, – руки так тряслись, что и протянуть-то к ней стыдно было – дрожат проклятые, как у алкоголика, сердце в груди замирает, как перед смертью, а выпили немного – сразу хорошо стало, тепло, приятно... поцеловались,

музыка какая-то вокруг играет, поет, – начал я у нее на платье всякие там крючочки, пуговки расстегивать, пояски разные снимать, а она улыбается, застенчиво так, помогает... ну, сняли с нее верхнюю одежду, а там – боже ты мой! – все ведь совсем по-другому! совсем не как у нас!.. бельишко-то это светлое такое, тонкое, атласное, все в каких-то узорах, кружевах... что-то в этом во всем такое старинное чувствуется, как будто бы откуда-то из древности глубокой выходит, к нам идет и там у них внизу, под верхней одеждой понемногу сохраняется... нежное все такое, как у невесты какой-нибудь или у грудного дитя... и главное, когда все это видишь, снова такое напряжение возникает, как будто где-то в запретной зоне идешь... по минному полю пробираешься, вот-вот током убьет... а самого тянет, тянет туда, сладко так, хочется прикоснуться, потрогать последнюю преграду, погладить ее рукой, как будто бы магнитом каким-то всего притягивает... я ведь очень хорошо помню, в детстве еще тоже... все удивлялся: ну, что, мол, тут такого? вроде два обычных куска железа, а сила какая-то проходит между ними, и не дает им соединиться, или наоборот – так прижимает друг к другу, что и не оторвать... но мы-то ведь – люди, живые сами можно сказать, себе хозяева. Возьму вот, мол, сейчас, да и не буду, не захочу... хотя, как же это так – не захочешь-то?.. как же не будешь? – очень даже захочешь, да еще как будешь!.. и главное, откуда все это исходит – неясно, нет там никакой реальной границы, черты, что ли... с которой все начинается, не за что ухватиться, – схватил – а уже поздно, все уже позади, и сделать ничего нельзя... ну а уж когда она все остальное с себя сняла и легла передо мной на постель, тут-то я вдруг все и понял, и главное, лежит так как-то неловко, ждет чего-то, а сама смотрит откуда-то сбоку, издалека, как будто совсем уж какая-нибудь там маленькая, неизвестно чья девочка... волосики какие-то между ног кустиком растут, и не как у мужчины, а все вниз, и там, где хоть что-нибудь должно быть, – ничего нет... странно... ну, там еще две титечки, другие второстепенные части тела, и вроде, что в этом такого особенного-то? что в этом такого необыкновенного? тут ведь и описывать-то нечего! все ведь это уже знают, видели, слышали и даже читали, наверное, тысячу раз... вот только не знаю – может, это мне одному так кажется – как будто свет какой-то невидимый от этого всего исходит и бьет в глаза так, что даже смотреть на все это больно, так, что даже слезы вот-вот из глаз от боли потекут... и тревога какая-то в груди нарастает, печаль... нет, конечно, может, это не только мне так кажется, может, это и другие чувствуют и другие понимают... хотя я, честно говоря, даже удивляюсь: как же они тогда могут – в каких-нибудь там журналах, кино или еще где-нибудь в искусстве, да даже просто так, в жизни, как же они могут? – на все на это спокойно смотреть и я бы даже сказал – наслаждаться?! знают ли они, какую за все это плату платить придется? чем нужно будет расплачиваться,

как говорится, в конце пути?.. ведь это очень хорошо, если знают... ну, а если не знают, тогда что?..

Про тех-то уж, кто там все это наружу выставляет, показывает, фотографирует, пишет и в песнях поет, про тех-то я и не говорю, тем-то уже сейчас прямо можно начинать, что называется, веревку намывать...

Разделся, помню, лег к ней поближе, прижались друг к другу, лежим, хорошо так... тепло, проведешь ладонью по коже – и шум такой тихий раздаётся, как будто ветер какой-то где-то вдалеке шумит... и все, что вокруг, куда-то отступает на второй план, и ни о чем уже думать не нужно, беспокоиться... сила какая-то горячая подхватывает и ведёт обоих... ну, что там, мол, спросят, они такое делают, чем занимаются?.. да это уже и описать-то невозможно, начнешь описывать – все совсем не так получается, выбрасывает на поверхность, одни телодвижения остаются, а разве в них дело... дело-то ведь совсем в другом... нет еще, видимо, на это никакой такой точки зрения, угла что какого-то, с которого бы все это разглядеть можно было... и главное, слова-то все эти, названия там разные, тоже ведь никуда уже не годятся, чувствуешь прямо, как все они не нужны... нечего ими называть, все ведь уже известно, и все уже тут... и больше-то и нет ничего...

Ну, нет уж, что уж я действительно так перепугался-то?.. Пускай уж лучше приезжает поскорей, а то сижу тут один, как дурак, и смотрю сам на себя со стороны, много-то ведь не высмотришь, нужно же и взаимодействовать как-то, проявляться, выражать себя в общении с людьми... потом, я же ведь не просто так – ради одного удовольствия или там чтобы забиться и ни о чем не думать, не беспокоиться!.. Я, может, и тут за собой наблюдать буду, подсматривать – что, мол, он там такое делает, как себя ведет в таких, можно сказать, необычных обстоятельствах... да и она тоже за собой наблюдать сможет, я ее этому научу, покажу и мы вместе на себя со стороны смотреть будем, эксперимент почти что на себе ставить... пока, так сказать... а что? – пора, наконец, понять, почему все это происходит, как действует, где и в каком направлении, с какой силой, выяснить – есть ли там начало и конец или вообще нет ничего?.. нужно же как-то все это объяснить, закон какой-то вывести, – сколько же можно в конце концов, как какие-нибудь там кошки или собаки бессознательно и инстинктивно всему этому подчиняться? вот когда поймем все это, вычислим, научимся себя контролировать, тогда и завладеем всякими там скрытыми силами и необыкновенными способностями... а то ведь я знаю – сейчас ведь очень много развелось деятелей там разных, искусства какого-нибудь или даже науки, которые о чем только ни мечтают, чего только делать ни хотят? и стаканы всякие по столу взглядом двигать, и по небу без крыльев летать, передавать что-то там такое в мыслях на расстоянии, сквозь стены даже смотреть собираются, и главное, еще думают, что все так просто,

ни с того ни с сего, придет к ним в гости, дастся в руки, а им останется только владеть и распоряжаться! смешные! все чуда какого-то ждут! а того чуда, что у них, можно сказать, под самым носом лежит – не видят, не замечают... нагадят, измажутся, изваляются в грязи, сядут и ждут чуда – не ждите, не будет вам ничего!!!

О-о-о-о-ой! В дверь позвонили, что-то как-то уж очень быстро она пришла, – открывать, что ли, уже идти? да? ну, ничего, ничего... главное, это ведь на себя со стороны смотреть и ей на это на все указывать... вот, мол, посмотрите, молодой человек, все хорошо, все прилично – идет девушке дверь открывать... к нему девушка приехала, а он ей дверь идет открывать... что в этом такого плохого? по-моему, все очень хорошо! вот только идти что ли уже, да? пошел, что ли, уже, а? уже пошел... и главное, медленно так как-то, все это куда-то налево поползло – пол там, комната, диван, шкаф с книжками, стена с картинками, косяк... выбрался в коридор – а там вешалка, половичок у двери... щелкнул замком, открываю – а она уже стоит на пороге...

– Здравствуйте, – говорит, – еще раз...

– Здравствуйте, – отвечаю, – Рая. Проходите...

Вошла, странная какая-то вся, сумочка у нее в руках, – что это у них за сумочки такие? что они там только носят, в этих сумочках?..

– Можно, – спрашивает, – причесаться?..

– Конечно, – отвечаю, – что вы, Рая, конечно?

Пошла, пошла... почему-то в ванную, хотя у меня и в коридоре зеркало есть, закрылась там, заперлась на задвижку, зашебуршала чем-то таким... водой даже заплескала, странно... что это она там такое делает? хотя, может, так оно и полагается? может, так оно и должно быть? мало ли что в дороге случиться может, да и вообще! – нужно же человеку себя в порядок привести, женщине тем более...

Вернулся в комнату, сел на стул, сижу и от нечего делать на себя со стороны посматриваю, тренируюсь вроде пока... вот, мол, смотрю: молодой человек сидит на стуле, ждет, когда девушка себя в порядок приведет... к нему девушка приехала, а он сидит и ждет, когда она себя в порядок приведет... девушка к нему приехала! а он... однако, сколько же это ждать-то можно, черт возьми? что же это она там такое делает? и главное, долго так! поправляет что ли что-нибудь там у себя? или пришивает?.. а, может, даже моет?! вот черт! неясно что-то ничего, хотя, конечно, с другой стороны, – мало ли что?.. да и вообще... как-то... ну, ничего, ничего... главное ведь это...

Тут вдруг слышу – дверь в ванной открывается, выходит, заходит в комнату, – боже ты мой!.. – причесаться-то она, конечно, причесалась, да еще к тому же и накрутилась, да густо так

– губы красной помадой и черной тушью глаза; что, это, думаю, такое с ней? а она улыбается, нервно так как-то...

– Я, – говорит, – готова...

И села в кресло.

К чему это, думаю, она готова? сидим, молчим.

– А чаю, – вдруг спрашивает, – у вас какого-нибудь не найдется?

Вот дурак, как же я это сразу-то не сообразил!

– Извините, – говорю, – меня, Рая, за мою дурную гостеприимность. Я сейчас...

Вскочил со стула, побежал на кухню, и пока воду в чайник наливал, газ зажал, чай, чашки, ложки или там сахарницу какую-нибудь с сахаром из шкафа доставал, все слушал – что она там в комнате делает? как там себя без меня ведет? Слышу – ходит, каблучками по полу стучит, осматривает, наверное, все кругом, интересуется...

– А что это, – вдруг кричит мне на кухню, – у вас за картины такие висят?

– Нравится? – спрашиваю в ответ.

– Очень.

– Да это, – кричу, – мне один художник знакомый подарил.

– А у меня, – кричит, – тоже есть один знакомый художник! Так он все меня обнаженную нарисовать хочет.

– Ну а вы, как, – кричу, – согласны?

– Не знаю, – отвечает. – А вы как думаете, соглашаться или нет?

– Не знаю, – кричу, – Рая. Ваше дело. Только мне кажется, он не только нарисовать вас хочет...

– А что же? – спрашивает.

Вот, думаю, глупая какая...

– А вы сами подумайте, – кричу.

Замолчала даже, кажется, замерла... обиделась, может; вот черт, не стоило мне, наверное, с ней об этом говорить, да и вообще, почему это, действительно, какой-нибудь там художник молодую девушку обнаженной не может нарисовать? что в этом такого плохого?.. взял да и нарисовал... вот только не знаю, чего их рисовать-то! вон ведь уже сколько нарисовано, да и сфотографировано даже уже! – все равно ведь так не нарисуешь – да и не нужно! не нужно – ну нет уж! знаю я этих художников!

Захожу в комнату, а она сидит в кресле, ногу на ногу положила, курит и сигаретой на шкаф книжный указывает.

– А это все ваши книги? – говорит.

– А чьи же, – отвечаю, – конечно, мои.

– И вы их все уже читали?

– Да нет еще, – отвечаю, – не все.

– Интересно!

– Да как вам сказать, – объясняю. – Это ведь в основном по режиссуре.

– А-а-а! – говорит и сигаретой затулилась...

При чем тут, думаю, книги? да и вообще, мы ведь с ней совсем о другом говорили... сел на стул...

– А вы, – спрашивает, – разве не курите?

– Да нет, – отвечаю, – не курю.

– А ничего, что я у вас тут курю?

– Да что вы, – говорю, – что вы, Рая, курите, как говорится, на здоровье.

– Надо же, – улыбнулась, – "на здоровье".

– Да, – говорю, – вот так вот...

– Придумают же, – говорит, – на здоровье!

– Да, – отвечаю, – вот так...

– Да, – говорит.

– Такие вот, – говорю, – дела...

Замолчали...

Фу-ты, черт! о чем же говорить-то? и главное, слова-то все эти, названия там разные подевались куда-то...

– Да, – вдруг вспомнил, – а что вы мне тогда сказать-то хотели?

– Когда?

– Ну, тогда, когда мы еще с вами по телефону говорили?..

– Я разве сказать что-то хотела? Ах, да! Приятель-то ваш меня выгнал.

– Как это, – спрашиваю, – так?

– А так. Взял да выгнал. Что вы, – говорит, – как выгоняют не знаете? Я его, – говорит, – застала там с одной, я ведь давно уже знала, что у него там есть кто-то, в смысле другая... А тут вернулась из института, у нас лекции отменили, и застала. А он-то, главное, – улыбнулась, – разозлился так, в комнату не пускает. Я ему что-то там говорю, а он мне: ты сама такая, говорит. Сказал, что у нас там с вами что-то было. Да и выгнал.

– Но ведь у нас же с вами не было ничего!

Опустила головку...

– Не было...

– Надо же, – говорю, – вот подлец!

Подняла голову, смотрит на меня, глаза широко так открыты.

– Ага... – говорит.

И замолчала.

Посидели, помолчали...

– А где же вы теперь жить-то будете?

– Не знаю, – говорит.

– А общежитие? – спрашиваю. – У вас там место должно быть.

– Я, – говорит, – там пока одной девочке пожить разрешила, а к ней сейчас муж приехал. А у другой там девочки, – махнула рукой. – В общем, тоже...

Вздыхнула...

– А у вас, – вдруг спрашивает, – никак переночевать нельзя?

Вот, думаю, странная какая! Сразу как будто сказать об этом не могла!

– Конечно, – говорю, – можно. Что вы, Рая, конечно, живите пока не надоест...

Посмотрела на меня, помолчала...

– Правда? – говорит...

Подсел к ней поближе...

– Это, – спрашиваю, – вы об этом со мной поговорить-то хотели?

Отвернулась, смотрит куда-то в окошко и головой слегка так кивает.

– Какая вы все-таки смешная, – говорю. – Может, вы и на красились там, в ванной, и разговоры со мной всякие пока заводите тоже для этого?

– Почему же... – говорит, а у самой, вижу, ушки покраснели.

Подсел к ней еще ближе, совсем уже на край кресла.

– Раечка, милая, смешная, – говорю. И осторожно так рукой за плечо ее трогаю. А она еще больше от меня отодвигается, смотрит и смотрит куда-то в окно. Что это, думаю, она там такое увидела? И вдруг вижу – а у нее с подбородка капает что-то, одна капля упала, другая... Да ведь это же слезы!

– Что вы! – испугался. – Что вы, Рая!

И сам ее одной рукой к себе повернуть норовлю, а она – не хочет, упирается... и еще сильнее заплакала, наконец, скрючилась как-то, повернулась, прижалась ко мне боком, голову где-то у меня под подбородком спрятала, всхлипывает, вздыхает...

– Вот вы, – всхлинула, – вы тогда, – еще раз всхлинула, – помните говорили, что в кино меня хотите снять... и вообще... – вздохнула, – об искусстве... так вот я... согласна... – и снова заплакала, но уже потихоньку...

Сидим с ней в кресле, молчим, она плачет, а я ее одной рукой за плечи обнял, другой по головке глажу, сам в окошко смотрю...

– Эх, – говорю, – Раечка...

Взял да и поцеловал ее в затылок, – волосики мягкие, свежим чем-то таким пахнут, женским...

– Что там, – говорю, – искусство все это, кино! Да бог с ним, мы ведь с вами, может, по небу скоро летать начнем...

Слышу, плакать перестала, носом шмыгает, прислушивается...

– А что вы, – говорю, – удивляетесь? Я ведь совсем не шучу, ведь это на самом деле получиться может. Мне ведь тут такое открылось! Сказать даже страшно. Главное, ведь это...

Тут вдруг она выпрямилась, смотрит на меня испуганно так, а глазки красные, носик припух, по щекам тушь размазана...

– Ой, – говорит, – у вас там чайник на кухне, выкипел наверное, уже весь!

В общем, пока я на кухню бегал, заново чайник водой на-

полнял, ждал, пока он закипит, она в это время в ванной себя в порядок приводила, умывалась там или опять, кажется, красилась, слава богу, уже не так сильно, пока мы с ней потом на кухне сидели, ждали, пока чайник заварится, – довольно много времени прошло...

Вернулись, наконец, в комнату, она туфельки сбросила, забралась на диван, ножки под себя поджала.

– Ничего, – спрашивает, – что я так села? Я ведь так очень люблю, – улыбнулась и юбочку поправила.

– Конечно, – говорю, – сидите, если любите.

Стул к дивану придвинул, чайник, сахарницу и чашки на него поставил, чаю себе и ей налил и тоже на диване устроился. Сидим с ней пьем чай.

– Вы тогда, кажется, – вспомнила, – говорили о чем-то, – и ласково так посмотрели на меня.

– Видите ли, – объясняю, – Рая, вообще-то все это очень просто. Что там долго-то говорить! Представьте себе, что вот вы тут со мной сидите, чай пьете и в то же самое время – на самую себя смотрите, наблюдаете, как бы со стороны.

– Представила, – говорит.

– Не-ет, – говорю, – погодите. Вообще-то это, конечно, не так уж просто. Нужно ведь не то чтобы представить, а как бы все время за собой следить, только внутренним взглядом. Так просто, обычно, можете и на меня там смотреть, чай пить, общаться, но внутренне – все время за собой наблюдайте, как будто вы и на диване сидите и одновременно где-то там, в стороне, стоите и смотрите, как мы тут с вами сидим, чай пьем, говорим о чем-то, что-то там такое делаем...

Кивнула, напряглась так как-то...

– Вижу, – говорит, – и глазки вытаращила.

– Да вы, – говорю, – не напрягайтесь, не напрягайтесь. Спокойнее, сидите просто, и все. Видите, как будто какие-то люди – молодой человек и девушка сидят в комнате на диване и чай пьют.

– Вижу, – говорит.

– Как будто там, – продолжаю, – где-то, в какой-то комнате, на диване сидят молодой человек и девушка и чай пьют. Сидят на диване.

– Я, – говорит, – вижу, вижу, а дальше-то что?

– Как бы это вам так сказать, – объясняю. – Тут ведь все дело во взаимодействии... Конечно, если так просто, на одном месте сидеть и ничего не делать, ничего не получится. Нужно взаимодействовать. Все дело во взаимодействии, женского и мужского принципов...

– Понимаю, – говорит, и замолчала...

Помолчала, помолчала немного...

– А как, – вдруг спрашивает, – мы с вами спать-то будем?

Вот черт, при чем же тут, думаю, спать-то? хотя, конечно, с другой стороны!..

– А что вы, – спрашиваю, – имеете в виду?
– На одной, – говорит, – постели?
– У меня, – отвечаю, – и раскладушка есть.
– Я, – говорит, – тогда на раскладушке лягу, – и смотрит на меня – простенько так.

– Зачем же, – говорю, – вы ляжете. Я на раскладушке лягу!
– Да нет, – говорит, – что вы. Я же привыкла! Я ведь и там тоже на раскладушке спала!

– Я, – говорю, – Рая, не знаю, на чем вы там спали, но тут – я буду на раскладушке, а вы – на диване.

– Но, может...

– Нет, – говорю, – я же хозяин, я и лягу на раскладушке!

Замолчала... сидим, молчим... наконец она чай свой допила, чашку на стул поставила, придвинулась немного ко мне.

– Вы, – говорит, – на меня не обижаетесь? – и глазки опустила...

– За что же, – спрашиваю, – мне на вас обижаться-то?

– Я, – говорит, – так как-то сразу, не могу...

Господи ты, думаю, боже! чашку на стул поставил и тоже к ней придвинулся.

– Неужели вы, – говорю, – Рая, подумать могли, что раз уж вы тут у меня ночуете, то и спать со мной вместе должны? Я же ведь это так, просто. Вообще, так сказать, выразился насчет принципов-то этих.

– Я, – говорит, – понимаю. – И покраснела.

– Меня ведь, – продолжаю, – давно уже все эти проблемы волнуют. Понимаете, – говорю, – проблемы взаимоотношения полов. Мне кажется... – взял да и дотронулся слегка до ее руки. – Мне кажется, в этом во всем, – чувствую, а она не только своей руки не убирает, но еще и мою руку слегка так пальчиками своими поглаживает, – мне кажется, – продолжаю, – во всем этом... скрыта...

В общем, тут мы с ней целоваться начали... целуемся, целуемся... долго довольно так, и времени уже много прошло... сколько же, думаю, целоваться-то можно... нужно же и дальше что-нибудь там такое предпринимать... только руку протянул, чтобы пуговку у нее на кофточке расстегнуть, а она вдруг как отпрянет от меня!..

– Не надо, – говорит, – мне, – говорит, – завтра рано вставать. Давайте, может, спать уже ляжем?..

– Да что вы, что вы, – говорю, – не так ведь еще поздно. Время-то ведь еще есть...

– Вы знаете, – говорит, – я, – говорит, – сегодня так устала...

Пришлось мне за раскладушкой идти... пока я все это из шкафа доставал, в углу расставлял, стелил, убирал и в комнате проветривал, она уже успела в ванной умыться... пошел и я в ванную, возвращаюсь, а она уже разделась, лежит под одеялом, натянула его до самых глаз и смотрит на меня – пристально так...

Я свет погасил, разделся тоже, лег на раскладушку...

– Спокойной, – говорю, – ночи!

– Спокойной ночи! – отвечает.

Замолчали... лежим, молчим... спим как-будто...

Все-таки, думаю, глупо как-то все это получилось... как-будто уж действительно вместе лечь не могли, все равно ведь в одной комнате, да и потом, что в этом такого плохого?! по-моему, все очень хорошо, да и приятно даже... потом, я же ведь не просто так... мы же ведь с ней... да и вообще... может спросить, а? может, она еще не спит, а?..

– Вы, – спрашиваю, – Рая, не спите еще?

– Нет еще, – отвечает...

Полежали, помолчали...

– А, может, – говорю, – мы с вами вместе ляжем?

Лежит, молчит, не отвечает...

Вот, думаю, черт... взял да и спугнул девушку... не стоило мне, наверное, с ней об этом говорить...

Тут вдруг она повернулась на диване...

– Ладно, – говорит, – идите. Только ненадолго...

Вскочил с раскладушки, забрался к ней под одеяло... хорошо там, тепло... только хотел...

– Подождите, – говорит, и отстранилась немного от меня. – Расскажите мне лучше о чем-нибудь таком...

– О чем же мне, – спрашиваю, – Рая, вам рассказать-то?

– Ну, вот вы о взаимоотношениях говорили...

– О взаимоотношениях? – спрашиваю, – между мужчиной и женщиной? Видите ли, – говорю, – я считаю эти взаимоотношения основой, моделью, так сказать, вообще всех взаимоотношений на земле...

Лежит рядом, слушает, только глазки в темноте блестят...

– Как только, – продолжаю, – люди на своем собственном опыте сумеют изучить эти взаимоотношения, понять, куда все они направлены, в какую сторону идут, как только они, эти люди, научатся, так сказать, в своих целях использовать механику этих взаимоотношений, им, этим людям, сразу откроются все тайны, и будут даны такие силы, скрытые до сих пор в человеческой природе, что они, эти люди...

Тут вдруг она повернулась ко мне, прижалась своим плечиком к моему плечу...

– Можете, – говорит, – мне спинку погладить?

И дальше слушает...

Начал я у нее спинку гладить. А спинка эта...

– Что же вы, – говорит, – замолчали? Продолжайте, продолжайте!..

– Да, – продолжаю, – о чем мы с вами-то, ах да!.. Но вся беда... – а сам глажу и глажу, и уже не только спинку, – но вся, – продолжаю, – беда, Рая, заключается в том, что люди... – но ведь невозможно же только гладить и гладить! Попробовал у нее

застежку на лифчике расстегнуть, – но вся, – повторяю, – беда заключается в том, что люди никак не могут, – вот черт, не расстегивается что-то проклятая застежка,.. подергал – не получается, замка я этого не знаю. – Люди, – говорю, – никак не могут, понимаете, люди... в самый важный, в самый ответственный момент... – вот черт, не расстегивается, и все, что ж делать-то, а? может, ее спросить, а? – может, – спрашиваю, – вы сами?..

А она усмехнулась так как-то:

– Что, – говорит, – ”сами”?

– Ну... расстегнете?

– А зачем?

– Ну, понимаете, – говорю, – вообще-то...

Хотя, конечно, с другой стороны – думаю...

– Может, – спрашиваю, – вы спать уже хотите? – и даже ногу так это... с дивана на пол. – Я ведь тогда, – говорю...

Тут вдруг она как обнимет меня, как прижмется ко мне и сразу хорошо так стало, тепло, приятно...

В общем, тут у нас с ней все и получилось...

Короче говоря, лежим с ней потом, отдыхаем. Она мне голову только на плечо положила, глазки прикрыла, молчит, дышит тихонько. А я ее за плечи обнял, лежу, смотрю в потолок... и это, думаю, что ли, все? и ради этого-то, думаю, что ли, все на земле и происходит?! вот мы тут с ней так это дергались сейчас, из стороны в сторону, ходили туда-сюда, что-то там такое приносили, уносили, чай пили, спорили о чем-то, говорили, на счастье, можно сказать, надеялись... а ведь если строго посмотреть, какое же в этом счастье-то? ну да, первый там, второй или даже третий раз, есть, наверное, своего рода физическое наслаждение, хотя, конечно, если честно сказать, его и наслаждением-то назвать нельзя... так, дурь какая-то... а ведь месяца через два, через три, когда уже, так сказать, все способы новой жизни перепробованы будут, и этого, последнего, можно сказать, удовольствия, лишиться придется!.. человек ведь ко всему привыкает, тем более сейчас... ну, посмотрим мы там друг на друга, походим из стороны в сторону, о чем-то там поговорим – делать нечего, ведь не расходиться же действительно в разные стороны, когда еще только недавно, можно сказать, родственники там всякие, родители или даже друзья, что-то там такое делали, приносили, радовались, поздравляли... да и потом, привыкли ведь мы уже друг к другу, какие-никакие, а все-таки люди... ведь не бродить же опять, в самом деле, где-то там в одиночку, по улицам, в ожидании и поисках неизвестно кого... в общем, делать нечего – детей придется рожать! тем более, дело это несложное, природа, как говорится, сама зовет – ей ведь только дай, природе-то, ей ведь только палец в рот...

Ну, там на первых порах, конечно, заботы всякие, радости, печали пойдут, можно от своей взрослой жизни отвлечься, чу-

жой, детской жизнью пожить, а заодно – и самим на время помолодеть; да и потом, какая же она чужая? жизнь-то эта? она ведь вон, своя, родная, ходит уже, ножками, ручками так это шевелит, сказать даже что-то такое пытается... хорошо еще, что выговорить не может!.. ну, ничего, ничего, скоро подрастет, говорить научится и уж тогда скажет. "Мама!" – скажет. – "Папа!", "До свиданья", "Мы сами детей делать пошли"... а их дети – тоже, да и те, следующие... тоже самое...

Нет, можно, конечно, ни о чем больше не думать, а только рожать и рожать, а уж когда и это перестанет получаться – жить, так сказать, во имя грядущих поколений, ради их, что называется, счастливого будущего, – только вот, какое же оно счастливое, будущее-то это, земля-то ведь вон – шар, да и притом небольшой, чем больше на нем людей, тем меньше территорий, да и вообще, благ всяких там материальных... что ж с ними тогда делать-то, с людьми-то этими? ведь не палить же в самом деле время от времени в каких-нибудь там газовых печах? или не растворять же заживо какой-нибудь там атомной радиацией? – в космос, очевидно, посылать придется, – только я тогда, честно говоря, не очень уверен, что у них, у этих будущих поколений, когда их там на ракетах каких-нибудь в скафандрах железных с отбойными молотками, куда-нибудь на Марс или Сатурн посылать будут, я что-то не очень уверен, что у них тогда для своих бабушек и дедушек ласковые слова в запасе найдутся... Мне даже кажется, что они к тому времени специально для этого новые слова придумают, еще, может, даже покрепче теперешних...

Да и потом, что люди? бог с ними, с людьми! да даже и с какими-нибудь там зверьми, бог с ними! – предметы, вещи так сказать неодушевленные – ведь и с ними та же история!

Делаешь ты там какую-нибудь тонкую деталь, делаешь, точишь ее, можно сказать, точишь, а потом какой-нибудь идиот придет, возьмет ее в свои лапы и вместо того, чтобы аккуратно присобачить на полагающееся для нее место в системе всего, так сказать, механизма в целом, – как даст по ней здоровенным молотком!..

Или там какую-нибудь простую яму роешь, роешь, пот с тебя в три ручья течет, выроешь, наконец, выберешься из нее, сядешь на кучу земли отдохнуть, а он, идиот-то этот, придет, посмотрит по сторонам, походит туда-сюда, почешет у себя темя, да и скажет: "Эх, – скажет, – яму-то эту совсем не там выкопали! закопайте вы ее к..."

Да даже произведение какое-нибудь там искусства! – создаешь, создаешь, мучаешься, мучаешься, хочешь, как говорится, с людьми поделиться только что открывшимся тебе смыслом происходящего, совершенно неожиданно появившимся перед тобой новым путем, тут вдруг...

Нет, я, конечно, знаю, и даже где-то там читал, что произ-

ведение искусства, если оно, конечно, произведение искусства, бессмертно, что оно там это... пребудет вечно, и никто, мол, никакой идиот не в силах этому помешать и что-либо изменить...

Но я-то смертен! я-то ведь когда-нибудь, наверное, умру! а хочется, очень даже хочется еще, можно сказать, при жизни, увидеть, что люди...

Да и потом, что люди? что вы вообще ко мне пристали?

Черт с вами, с людьми!.. Вот есть среди них одна...

И, главное, еще какой-то там эксперимент собрался ставить, на что-то там с ней смотреть хотел со стороны... да на что бы вы, интересно, с ней смотрели-то? на чем бы вы этот эксперимент-то ставили, – все ведь это кругом, куда только ни посмотри, о чем только ни подумай, края какие-то, куски, концы, хвосты и обрывки... и главное, все это еще двигается, дергается, ходит туда-сюда, елозит... всплывает на поверхность и снова на дно опустится... надуется... лопнет... наружу выплеснуться норвит...

Боже мой, дак кто же это все варит-то? Сидит там, наверное, сейчас у себя на корточках, пар нюхает, улыбается, пробует, дует в ложку, "горячо", – говорит...

Да как же тут жить-то?!

И главное, еще чудом каким-то собрался владеть, – смешно, честное слово.. да, может, все это чудо, если строго на него посмотреть, в том только и заключается, что вот мы тут с ней сейчас лежим...

Обнял ее покрепче, уткнулся в нее, ничего мне, честно говоря, больше не нужно... ничего я, если правду сказать, больше не хочу... да и пошли вы все к...

Лежим, а за окном в темноте деревья на ветру шумят, дом высокий, большой, соседи-то все уже наверное за стенками до самого первого этажа спать легли, завернулись в свои одеяла, кто на боку, кто на спине, а кто и на животе, выставив или поджав под себя ноги, раскинувшись или наоборот – съживившись, и укрыв себя одеялами с головой, летят куда-то, ворочают во сне глазами, вздрагивают, вздыхают, о чем-то говорят, и только где-нибудь на третьем, первом или там на каком-нибудь седьмом этаже еще не спят, еще горит свет в маленькой тесной кухоньке, посреди которой какой-то мужичок, только что вернувшийся откуда-нибудь с вечерней смены, стоит в майке и в трусах, склонившись над газовой плитой и выуживает что-то из кастрюли, кусок за куском, ест, жмурится от наслаждения, почесывает босой ногой ногу, заедает все это черным хлебом... скоро и он тоже, вслед за остальными, помывшись и сходяв по нужде, завалится где-нибудь в темной спальне в теплую постель, рядом со своей спящей уже женой, детишками, посапывающими в соседней комнате, какое-то время у него перед глазами еще будут мелькать лопата, раствор, кирпичи, еще будет он видеть яркий свет прожекторов, слышать шум динамомашин, треск

отбойных молотков, крики работающих рядом с ним товарищей...

Пожилая женщина, давно уже погасившая свет в своей одинокой, чисто прибранной комнате, лежит в постели и смотрит в потолок, все думает о своей единственной дочери, уехавшей от нее куда-нибудь на другой конец света, представляет, как она там сейчас ходит, наверное, где-нибудь, что-нибудь такое делает, о чем-то говорит, но почему, почему она ей ничего не напишет, не даст о себе знать? – как же так, что же это за отношение такое к родной матери? – и как всегда по привычке, начнет она вспоминать свою дочь, объяснять ей что-то, но вдруг, вспомнив, как та еще совсем маленькая, испугавшись чего-то, бежала и прятала у нее в платье свое лицо, заплачет, зашепчет что-то в темноте, вытирая глаза пододеяльником, да и заснет... но неожиданно проснется и снова начнет думать, мучиться, переживать...

Молодой человек, быть может, создающий сейчас какое-нибудь там произведение искусства или делающий важное научное открытие, пишет что-то при свете настольной лампы, улыбается, спешит занести на бумагу промелькнувшую в голове мысль, весь мир открыт сейчас перед ним, все он видит, все слышит и все понимает... и вот, не в силах больше сдерживать вызванного им вдохновенья, вскакивает он со стула, начинает бегать по комнате, прыгать, размахивать руками, танцевать, но неожиданно замирает, хмурится и снова садится к столу, снова пишет...

А где-то недалеко по проспекту идет машина: интересно, кто там в ней сидит? куда едет? – какая-нибудь красивая женщина, согласившаяся, наконец, провести ночь с человеком, который давно уже и настойчиво ухаживает за ней, – искоса смотрит она на него, сидящего за рулем, видит, как он сейчас счастлив, как торопится поскорее привезти ее к себе домой, понимает, что не любит она его, но нет у нее больше выбора, одна она уже тоже дальше жить не может...

Усталое семейство, возвращающееся откуда-нибудь из-за города, с дачи домой, с собакой, сумками, корзинками, букетами вянущих по дороге цветов, в одежде, измазанной травой и глиной... все они набегались за день по лесу, наигрались, накричались и сейчас, зевая во весь рот вместе с собакой, больше всего на свете хотят одного – спать...

Да даже просто какой-нибудь там одинокий таксист, только что высадивший где-нибудь в подворотне двух загулявших друзей, пересчитавший их мятые рубли, вырывает куда-нибудь поближе к вокзалу в поисках ночных пассажиров, несется по улицам, залитым холодным неоновым светом, мимо безлюдных скверов, мигающих светофоров, по пустынной набережной темнеющей слева реки, а справа бегут от него низкорослые деревья аллеи, мелькают фонарные столбы, плывут огромные, выстроенные там и тут здания...

Вон одно из них: стоит в темноте, окруженное высоким забором, и смотрит единственным освещенным в правом верхнем углу окном; какой-нибудь генерал, чья очередь подошла сегодня дежурить по штабу, сидит там, наверное, сейчас за столом, уставленным телефонами, пишет что-то в журнал, прислушивается к тиканью часов, к гудению радиоаппаратуры, к негромким голосам каких-нибудь там писарей или телеграфистов за стеной; огромная, страшная сила сосредоточена сейчас в его руках, десятки тысяч людей в полном боевом вооружении вместе с танками, пушками и бронетранспортерами в считанные часы, по одному только его приказу способны подняться в воздух и высадиться в любой точке планеты, сотни ракет в считанные секунды готовы поразить любую движущуюся в воздушном пространстве цель, бомбы, установленные на этих ракетах... но, слава богу, пока все спокойно, нет повода для войны, и генерал, сняв фуражку и положив ее перед собой, закуривает, затягивается папиросным дымом, кашляет глухим кашлем курильщика, смотрит на собственное отражение в оконном стекле...

А вот другое – невысокое, но просторное, расположенное в центре старинного парка; молоденькая медсестра в белом халатике, делающая сейчас там укол какому-нибудь измученному болью и бессонницей больному, меняющая кислородную подушку старухе, со дня на день готовой умереть, или ставящая какую-нибудь там капельницу только что прооперированной женщине в отдельной палате, делает все это с какой-то особенной ловкостью, легкостью и быстротой, – что же это так поддействовало на нее сегодня? что заставило ее так отнестись к своему труду? – Молодой и серьезный врач дежурит вместе с ней в этом отделении, одного взгляда его красивых и строгих глаз достаточно для того, чтобы все, что ни делается тут медсестрой и что уже так приелось и надоело ей за время работы, стало вдруг снова важным и интересным; снова приобрело вес и смысл...

И наконец, третье, тут же, недалеко, в этом же парке, его и зданием-то назвать нельзя – так, домик какой-то... в этом домике, на большом цинковом столе лежит обнаженное тело умершей недавно девушки, светится в темноте своей холодной белизной, тревожит подозрительной на живой взгляд неподвижностью, но бояться не следует – она уже ничего не может, эта девушка... зато на другом конце города, в одном из домов, в темной комнате, на одиннадцатом этаже занят сейчас чем-то необыкновенным какой-то молодой человек, – вот разбил он молотком красивую стеклянную вазу, зажег малюсенькую электрическую лампочку, разложил осколки перед собой и смотрит на них сквозь линзу, вделанную в деревянный ящик, видит, как они там сейчас складываются между собой, живут, пуская в разные стороны свет и тени...

А вот и вокзал... сняв ботинки, туфли или сапоги, подложив под готовые узелки или руки, спят на лавках в зале ожидания

какие-нибудь там транзитные пассажиры – женщины, прикрыв колени платками или пальто, девушки, сидя рядом со своими молодыми людьми, спрятав у них на груди свои лица, дети, свесив ноги, запрокинув головы, лежат на руках у своих родителей, смотрят, наверное, сейчас свои детские сны, а рядом двое командированных сдвинули шляпы на затылок, уселись друг напротив друга, поставили между ног чемоданчик и режутся на нем в карты; какой-то мужчина в очках, достав из портфеля газету, сложив ее вдвое, поглядывает поверх очков в разные стороны, хлопает глазами, зеваает; очередь, выстроившаяся в буфет, покорно принимает из рук толстобокой буфетчицы в мятом халате бутерброды и кофе с молоком; из туалета неподалеку доносится говор и смех закуривающих там мужиков и военных; молодецкий милиционер с чистым и нежным, как у девушки, лицом невозмутимо ведет куда-нибудь в отделение растрепанную, раскисшую от слез и вина бабу; босая цыганская девочка в пестрой по щиколотки юбке...

Но вот, наконец, медленно подадут на перрон состав, объявят посадку, и все это поднимется, засуется, подхватит свои узлы, сумки и чемоданы, возьмет за руки детей и, оглядываясь и переговариваясь на ходу, повалит к поезду, разойдется по вагонам, рассовывая по углам свои вещи, споря о чем-то с проводниками, усаживаясь по своим местам, и поезд медленно, но все быстрее и быстрее набирая скорость, стуча колесами на стыках, переходя по стрелкам с пути на путь, пойдет мимо пустых составов, товарных вагонов, каких-то там привокзальных складов, строений и тупиков, побежит над городом, пропуская под собой опутанные проводами улицы с движущимся по ним редким уже транспортом, оставляя по бокам замершие в темноте монастырские стены и автобазы, какие-то заводы, фабрики и кинотеатры, пруды, деревья, гаражи, ворвется, простучав по мосту над рекой, в мягкую тьму загородных рощ и лесопарков, гудком предупреждая каждую набегающую впереди станцию, и, наконец, набрав заданную по графику скорость, полетит среди крутящихся справа и слева лесов, освещенных лунным светом холмов, рек, поселков, полей и оврагов, унося засыпающих по вагонам пассажиров... И только где-нибудь в одном из купе на нижней полке какой-нибудь мальчик лет десяти не сможет заснуть, все будет слушать он топот ног, чьи-то голоса, стук дверей на остановках, следить за узкой полосой фонарного света, ползущей по стене и, наконец, не выдержав, приподнимется на локте, отодвинет занавеску, посмотрит в окно, но ничего там не увидит, кроме каких-то темных теней, мелькающих на темном фоне и только где-нибудь, совсем уже далеко-далеко, будет виден ему один-единственный огонек; где он там сейчас горит? что освещает? Так всегда хочется узнать об этом, и что-то так тянет, тянет туда, к нему...

А где-то высоко в небе летит самолет, мигаят среди звезд его

разноцветные бортовые огни, откинувшись на кресла дремлют в салоне под равномерный шум моторов летящие бог знает куда пассажиры... целые страны плывут сейчас у них под ногами, горы, покрытые снегом, равнины, еще живущие своей ночной жизнью города... вон, по улицам, освещенным светом рекламы, идут куда-то какие-то люди, мужчины и женщины, бегут друг за другом сверкающие автомобили, светятся своим внутренним светом наполненные какими-нибудь там товарами витрины магазинов, завешенные разноцветными занавесями окна домов, где-нибудь в ночном клубе в табачном дыму крутится под музыку в узком луче прожектора смуглая обнаженная женщина; двое мирных старичков, сидя в своей аккуратной квартирке, смотрят какую-нибудь там развлекательную телепередачу, пьют свой вечерний чай; лохматая молодежь где-нибудь в большом зале дискотеки танцует сейчас под грохот электронных инструментов, качается из стороны в сторону; какие-то парни с пистолетами где-то в переулке, оглядываясь по сторонам, волокут к машине обмякшего, повисшего у них на руках человека; девушка с раскосыми глазами...

Но вот и океан... покачиваемые легким волнением спят в его темной живой глубине стаи рыб; гигантский осьминог, притаившись среди скал, выпучил глаза и ждет свою добычу, шевелит своими гибкими щупальцами; на дне неподалеку лежит обросший травой и ракушками затонувший бог знает когда корабль; показывая время от времени на поверхности свою мокрую спину и выдыхая над собой фонтан воды, плывет куда-то кит; пустая железная бочка качается где-нибудь на волнах, блестит измазанной нефтью боком; раковина-жемчужница...

А где-то еще выше, на орбите, висит над землей космический корабль; пристегнутые к своим койкам, спят внутри него своим трудным сном какие-нибудь космонавты; прицепленные к стенкам кабины, плывут, потеряв свой вес разнообразные приборы или предметы; на круглое толстое стекло иллюминатора плавно наваливается откуда-то снизу громадный, голубоватый, сильно освещенный солнцем шар...

Тут вдруг она приподнялась немного на локте, посмотрела мне в лицо...

– А ты, – спрашивает, – меня любишь?

– Что ты, – говорю, – Раечка, конечно, люблю...

А внутри что-то такое как будто шепчет: да нет, ведь ты же ее совсем и не любишь...

... Смотри, смотри, конь писает, и какая у него пиписька большая, а рядом дядьки пиво пьют, желтое, как его писи!..

... А как у вас дела насчет картошки? Насчет картошки? Насчет картошки? Она уже становится на ножки! Да-да, на ножки!

... Пап, а почему пол в трамвае как ступеньки у эскалатора в метро! Едет, дребезжит весь, даже зубы во рту дрожат...

... Несут, и тетка какая-то сзади идет, плачет. А из гроба только нос торчит, белый такой, страшный и кровь с одного угла капает... – Врешь... – Я сам видел...

...А у нас одного мальчишка машиной задавило, вот...

...Айда на пруд!

...Царь-царица, клоп-клопица, куколка-балетница, воображала-сплетница...

...Во-о-ова-а! Иди домой! – Сейчас иду!..

... Штандер!..

...Москва, Москва красавица; Москва моя любимая... Стены древние Московского Кремля!..

...А у линии сегодня дядьки пьяные дрались, и у одного даже нож в кармане был, а потом все убежали и кепка на траве осталась, вся одеколоном пахнет... Милиционер с собакой приезжал и собака тоже эту кепку нюхала...

...Падай, ты убит!..

...И где же это ты так извалялся, а?! Где же это ты так измазался, паршивец, а? Я тебя спрашиваю!..

...Зеленые такие, большие и голубые мухи там, около уборной, на помойке сидят...

...А у нас на чердаке старуха злая живет, страшная, как Баба-Яга... Она однажды ночью во сне даже за мной гналась...

...Синагога называется, там евреи разные богу молятся, и у них там много вкусного всего, я сам их видел, старые такие, в каких-то шапках черных, с бородами на две стороны, как у месяца рога, идут, разговаривают о чем-то...

...А давай, кто быстрее яблоко съест, только чтобы ножка и одни косточки остались...

...Там, говорят, бомбу, неразорвавшуюся нашли? – Где? – У того берега. Военные даже приезжали... Сказали, надо разминировать...

...Христос воскрес, и поцеловаться надо...

...Единица-тройка...

...Пять копеек...

...Следующая – школа глухонемых...

– А давай, – говорит, – завтра с тобой куда-нибудь ходим?

– Что?

...Матки-матки, чьи заплатки? – Мои. – Пушка или пулемет?

...Весь сгорел, только человека одного обгорелого вынули...

...А ему отец с завода такую лупу принес, что все что хочешь прожжет!..

...Ну и что? А мой брат твоего отца одним ударом убьет, он боксер!.. – А у меня у отца знакомый – твоего брата застрелит, у него пистолет. – Застрелит и в тюрьму сядет. – Ну и что? Все равно застрелит!..

...Отстань, тебе говорят!..
...Какая-то штучка, черненькая такая, на могиле лежит, кисленько так пахнет...
...Трусоват был Ваня, бедный... Как-то позднею порой...
...Богатые! У них даже ванная из чистого мрамора в подвале стоит...
...Смир-р-на!..
...Раскололи этот камень – а там сплошное золото и бриллианты одни...
...Дядя Гриша, я больше не буду, ну дядя Гриша, миленький, я больше не бу-у-у...
...Рыжая такая, дура... – Сам дурак!.. – Алевтина Ивановна, а он бье-е-ет!..

Приподнялась на локте, смотрит мне в лицо:

– Да что с тобой? – спрашивает.
– Со мной? Ничего, – отвечаю.

...А у него, говорят, беретка в толчок упала. А мамка ее потом взяла и на тарелку натянула...
...Там, где пехота не пройдет, где бронепоезд не промчится, угрюмый танк не проползет...
...Кис-кис-кис-кис-кис...
...Длинные такие, сигареты неразрезанные, одну можно даже целый день курить... И от шприцев железные, ну, что внутри ходят...
...Мыть руки и марш за стол!..
...Только, чур, я сверху! Чур, я сверху..
...Сунь туда палочку, там жаба большая живет...
...Не буду больше с вами водиться...

Дотронулась до меня рукой.

– Ну что с тобой, а?
– Да ничего, – говорю, – Раечка, ничего, что ты?
– А что же ты, – спрашивает, – молчишь?
– Да так как-то, – отвечаю...
– А расскажи мне что-нибудь!
– Что, – спрашиваю, – рассказать-то?
– Ну, про что ты думаешь...
– Да так, – говорю, – воспоминания какие-то...
– Какие?
– Про детство там...
– Ну, расскажи.
– Да понимаешь, – говорю, – этого как-то и не расскажешь...
Жили в деревянном доме, пруд там рядом был, трамвайная линия...
– А мы, – говорит, – тоже в деревянном доме жили, мама и сейчас там живет. Весь город был такой, а рядом – речка, я тебе, кажется, уже говорила. Мы туда...

...Черная такая рука по ночам летает и всех душит... Залетит в форточку и душит...

...Дай вареньица, а? Ну дай вареньица, а? Ну дай вареньица! У-у-у! Жмот проклятый!..

...Пыс-пыс-пыс-пыс-пыс...

...Божия коровка, улети на небо, принеси мне хлеба... Черного и белого...

...Помажешь маслом, посыпешь сахаром и айда на пруд.

...А там собака мертвая в канаве лежит, вся протухлая-а-а... Айда, айда на пруд! Побежали!

Опять слегка так прикоснулась ко мне рукой.

– Ты не слушаешь меня?

– Слушаю, Раечка.

– Да что с тобой?

Вот черт, что бы ей такое ответить?

– Да, – говорю, – знаешь, настроение у меня какое-то...

А она обняла меня, прижалась ко мне покрепче и шепчет мне прямо в ухо, ласково так:

– Ты меня любишь? – и поцеловала.

– Понимаешь, – говорю, – Рая, как бы это тебе так сказать.

Видишь ли...

Встает с постели, свет в комнате зажигает, стоит передо мной голая совсем.

– Ты, – спрашивает, – не знаешь, где мое белье?

Лежу под одеялом, смотрю на нее, как дурак, а свет сильный, прямо в глаза бьет. Что это, думаю, такое с ней? И главное, все вроде так хорошо было...

А она:

– Ты, – говорит, – не видел, где мое белье?

– Я, – говорю, – Раечка, не знаю, посмотри вон...

Стащила с меня одеяло, нашла, наконец, лифчик, трусики, одевается и, главное, совсем уже ничего не стесняется.

Сел на диване, завернулся в простыню...

– Ты, – спрашиваю, – куда?

– А это, – говорит, – тебя не касается...

Вот черт, обиделась вроде...

– Но, – говорю, – Рая...

– Это, – говорит, – не твое дело. Понимаешь? – и дальше одеваться продолжает.

– Как же, – спрашиваю, – не мое? Я вообще-то... – и почесал затылок.

А она оделась, сумочку взяла, расческу оттуда достала, причесалась и в коридор, к двери...

Встал, иду за ней.

– погоди, – говорю, – Рая, ну погоди же!..

А она мне:

– Да пошел ты, – говорит, – знаешь куда...

Фу-ты черт, действительно, думаю, обиделась. Не так, наверное, я ей что-нибудь такое сказал...

Догоняю ее у двери.

– Раечка, – говорю, – ну что же ты обижаешься, – и взял ее за руку.

А она вдруг как закричит,

– Отпусти руку!

И главное – громко так...

Что же это она так, думаю, кричит-то, дура! Не дай бог, соседей разбудит.

– Куда же ты, – говорю, – сейчас пойдешь-то? Ночь вон уже...

– А это, – говорит, – тебя не касается! Отпусти руку...

А я ей:

– Не отпущу! – и даже злоба какая-то на нее внутри поднимается.

Тут вдруг она размахнулась, как даст мне по физиономии, и главное – больно так, внутри что-то такое закипело...

– Ах ты, – говорю, – сука! Я тебе сейчас тут...

И тоже, неуклюже так как-то, взял да и ударил ее по лицу.

Замерла, смотрит на меня с удивлением даже каким-то в глазах...

– Ты... ты... – голосок сорвался, и как зарыдает!

Господи, думаю, боже мой, что же это я такое наделал?

– Рая, – говорю, – ну, Раечка, извини меня, прости меня, милая, родная, ну прости, а?.. Ну прости, пожалуйста...

Встал на колени, обнял ее за ноги, целую их, колени ее целую...

– Раечка, родная, любимая, ну извини, а?.. Ну, прости... Ну извини, пожалуйста!..

А ножки, думаю, у нее все-таки очень неплохие...

– Раечка, родная, любимая...

А она все плачет и плачет... Забилась в угол между дверью и вешалкой.

Вот, думаю, черт, как бы действительно соседи не услышали.

Встал с колен.

Бедная, думаю, девочка, ей ведь действительно и пойти-то некуда, да и я ее еще тоже взял, да и ударил, подлец...

Стою рядом с ней, что делать – не знаю, а она все плачет и плачет...

Надо, думаю, ее все-таки в комнату отвести...

Взял за плечи, она плачет, но уже не сопротивляется, привел в комнату, усадил на диван...

– Вот, – говорю, – давай, – говорю, – туфельки снимем.

Нагнулся было, чтобы ей помочь, а она сама сняла туфли, отвернулась от меня, легла лицом к стене, сжалась вся как-то, всхлипывает, вздыхает...

Я свет быстренько погасил, лег рядом с ней, прикрыл ее одеялом...

Лежим, она плачет, а я ее потрогал за плечо:

– Рая, – говорю, – ты, – говорю, – извини меня, слышишь? Ну, извини, пожалуйста. А? Прости, что так получилось. Я ведь не хотел. Понимаешь, вспышка какая-то вышла, а? Ну, извини!..

Она молчит, всхлипывает только...

– Ну хочешь, – говорю, – я тебе что-нибудь такое расскажу, а? Про детство, там, а? Не хочешь?..

Молчит, не отвечает.

– Ну вот, – говорю, – знаешь, например, помню, может, это вообще одно из первых моих воспоминаний, как будто бы улица какая-то и дождик только прошел, кисленько так топодем пахнет, листочками его, и мокрым асфальтом... А улица тихая, тенистая, с высокими такими деревьями, с деревянными домами, спокойно так, и девочка какая-то, рыженькая еврейка, около палисадника стоит с коричневой такой папкой нотной в руках, на ней еще лира вытеснена... А из палисадника, деревянным забором огороженного, цветы разные выглядывают, ромашка садовая с разноцветными лепестками, золотые шары, акация... У нее еще цветочки сладкие такие, даже есть можно... А сзади дом деревянный, зеленой такой краской выкрашенный... И окна темные, чисто так вымытые. Кто там живет?.. Или вот сосед, например, у нас был, приятель мой. Худой такой, с кадыком, Филей, кажется, его звали. На баяне еще, помню, играл... Придешь к нему, а у него отец, что ли, где-то на стеклозаводе работал – много-много всяких там трубочек, палочек, висюлечек каких-то, шаров – и не просто там гладких, а всяких ребристых, граненых, завитых. Сам он на диване сидит и что-то такое на баяне наигрывает, а шторы тяжелые свет в узкую такую щель пропускают, и стеклышки все эти звенят, светятся таким голубым светом, и пахнет чем-то странным, душистым, то ли пряниками, то ли нюхательным табаком...

Лежит, молчит, никак не реагирует...

– Рая, – спрашиваю, – ты слышишь меня?

Молчит, только дышит тихонько.

– А хочешь, – говорю, – я тебе про сад наш расскажу. У нас ведь сад яблоневый был, ну там еще и вишня росла, крыжовник пополам с соседями, клубника даже была, но ее я не любил... А больше всего я любил...

Повернулась ко мне и сдавленным таким от слез голосом:

– Зачем ты, – говорит, – мне все это рассказываешь?

– В каком, – спрашиваю, – смысле? Ведь ты же сама об этом просила!

Смотрит на меня в темноте.

– Ты, – спрашивает, – действительно дурак или притворяешься?

– Почему же, – говорю, – Рая, дурак-то? Я тебя не понимаю! Помолчали немного...

– Да-а-а, – говорит, – я, – говорит, – таких еще не видела...
Лежим, молчим.

– Зачем же, – объясняет, – мне теперь все это? Все эти рассказы твои, если ты меня не любишь?

– Почему же, – спрашиваю, – Раечка, я тебя не люблю?

– А это, – говорит, – я уже не знаю. Это у тебя спросить нужно...

– Но почему же, – говорю, – Почему? Да и потом! Любовь, ведь она...

– Да ладно, – говорит, – хватит врать-то! Ты думаешь, я по тебе, что ли, не вижу ничего? Сделал свое дело, добился своего и в сторону?

Фу-ты, думаю, черт!

– Ну почему, – говорю, – Рая, в сторону-то? Зачем же уж так? – А как, – спрашивает, – с тобой, как? Врать-то ты, я вижу, еще не научился...

Что же, думаю, ей на это такое ответить?

Лежим, молчим.

– Ты, – спрашивает, – хоть понимаешь, что обманул меня?

– Я, – говорю, – Рая, тебя не обманывал. Я тебе всегда все честно говорил... А если уж ты думаешь, что что-то там между нами не так, если уж тебя там что-то не устраивает, я в этом не виноват...

– Ну да, – говорит, – конечно, я во всем виновата.

Чувствую, она опять вроде встать хочет, – вспомнил почему-то, как она тогда стояла голая передо мной, как я в коридоре ножки у нее целовал, – не дай бог, думаю, уйдет...

Схватил ее за плечи...

– Ты, – говорю, – куда?

– Пусти, – говорит, – меня...

А я ей:

– Никуда я тебя не пущу. Ну куда ты, – говорю, – сейчас пойдешь-то?

– Тебе-то, – говорит, – что до этого?

– Рая, – предлагаю, – ну давай серьезно поговорим. Почему ты, например, считаешь, что я тебя обманул?

Вздохнула.

– А что же, – спрашивает, – ты, может, думаешь, что я сама во всем виновата?

– Нет, – говорю, – ты не виновата. Но пойми, я тоже не виноват. Обман, это когда человек что-то там такое, злое, заранее замышляет. И специально делает. Но я-то ведь ничего такого не замышлял, я-то ведь хотел, как лучше! Поверь, я всегда тебе всю правду говорил и ни в чем тебя не обманывал!..

– Да мне-то, – говорю, – что от этого, что ты там хотел, правду ты там мне говорил или нет, замышлял или не замышлял – мне-то что от этого?..

Отвернулась от меня к стене...

– Какие же вы все-таки, – говорит, – мужики...

– Какие? – спрашиваю.

– Сволочи, вот какие...

Вот, думаю, черт, ну как же быть-то?

– Рая, – говорю, – ну я-то тут при чем! Я же тебе объясняю, я ведь не виноват, я ведь не такой, как они, я же...

– Да ты, – прервала меня, – может, еще похуже их всех-то! Они-то, – говорит, – хоть ничего и не скрывают, а если и скрывают, то все и так видно, все и так понять можно, чего они хотят, а ты... Навыдумывал там себе чего-то, наговорил, о чем? Я даже и не пойму: какие-то там скрытые силы, тайны, человеческие взаимоотношения, про искусство что-то там такое, про жизнь, про любовь... Говорить-то ты, я вижу мастер! Я ему, как дура, поверила, а теперь, оказывается, все это не так – все изменилось. Что ж получается, у тебя там внутри что-то такое все время меняться будет, а я из-за этого страдать, что ли, должна? И главное, говорит, смотреть там надо на себя со стороны, следить за собой! Вот именно! Посмотрел бы ты на себя со стороны, последил бы за собой! Можно ли тебе после всего этого верить? Откуда я знаю, а может, ты все это себе напридумывал и сам же во все это поверил только лишь затем, чтобы со мной переспать, и ни о какой любви и не думал! – повернулась ко мне: – А может, ты вообще никогда никого и не любил, а?.. Да и вообще любить-то ты, может, и не умеешь?

– Почему же это, – говорю...

Вот, думаю, черт... и замолчал...

– Вот именно, – говорит, – я про это и говорила!

Лежим, молчим...

Что же теперь, думаю, делать-то? а она мне:

– Отпустил бы ты, – говорит, – лучше меня. Все равно ведь из этого ничего уже не выйдет.

– Ну погоди, – говорю, – Рая. Погоди, давай разберемся. Во-первых, ты же сама хотела у меня переночевать, тебе же ведь жить негде! Жить-то ты у меня в конце-концов можешь? Я тебе это обещал, я и сдержу свое слово.

– Ах ты, – говорит, – хитрый какой! Я у тебя жить буду, ты со мной спать будешь, а потом, когда надоест, выгонишь меня или еще кого-нибудь там приведешь, как этот твой дружок!.. Ну нет уж, – говорит, – хватит, сыта по горло!

И снова от меня отвернулась.

– Да нет, – говорю, – Рая. Ты меня не поняла. Спать мы с тобой вместе не будем. Если ты этого не хочешь. Это совсем не обязательно. Просто будешь у меня жить – и все. Жить – и все. Пока не надоест...

Помолчала немного.

– Как это, – говорит, – не понимаю!

– А что тут такого непонятного, – объясняю, – живи у меня, ходи в институт, учись, мне от тебя ничего не надо!

– Ишь ты, – говорит, – благородный какой!

– Да при чем же тут, – говорю, – благородство-то! Я, выходит, виноват перед тобой, обманул тебя, как ты говоришь, ну так дай же мне хоть слово свое сдержать, насчет жизни твоей тут у меня...

Полежали, помолчали.

– Ну, хорошо, – говорит, – предположим, я у тебя останусь. А что мы тогда делать будем?

– Как что, – говорю, – дел, что ли, на свете мало? В институт ходить будешь, заниматься, я, может, тебе чего помогу.

А она:

– Ну, это, – говорит, – понятно. А общаться-то как, я что-то не понимаю!

– В каком, – спрашиваю, – смысле? Обычно будем общаться. Как все. Только без этого. Или уж ты там считаешь, что если без этого, то и жить вместе нельзя?

– Почему же, – говорит, – можно, но...

– Пойми, – объясняю, – это только сейчас так принято, что если уж там молодой человек и девушка вместе сошлись, то уж из постели, как говорится, не вылезают. Дорвались, так сказать, до самого главного удовольствия, ну и эксплуатируют его на полную катушку, а о том, что что-то еще в жизни есть, они не думают. Нет, конечно, сами по себе они могут там-то что-то такое делать для того, чтобы жить, но о том, что что-то еще друг от друга можно взять – они не знают! Они ведь и сходились-то друг с другом только лишь для этого. И главное, почему-то все это любовью называют, еще потом удивляются, куда же это она вдруг у них подевалась! Обвиняют друг друга в ее отсутствии... Вот точно, как мы с тобой...

– А ты, – говорит, – можешь предложить что-нибудь еще?

– Конечно, могу.

– Ну и что же это такое?

– Внутренний мир человека.

Усмехнулась.

– Ах, – говорит, – внутренний мир человека! Ну и что же мы с этим твоим внутренним миром делать будем?

– Как, что, – говорю, – стремиться будем к нему!

– Ну и как же это мы будем к нему стремиться?

– А вот так. Представь, – объясняю, – я же ведь рассказывал тебе сейчас про свое детство, где оно? Ведь там, на том месте, где оно было, и нет уже ничего: ни дома, ни улицы, заасфальтировано все кругом, школа какая-то стоит, спортплощадка, только тополь один остался. А ведь все-таки есть, живет где-то там, внутри меня, не угасает.

– Но ведь это же только твой мир, – говорит.

– Почему же, – говорю, – только мой? Я и тебя туда взять могу. Буду рассказывать тебе о нем, раскрывать его перед тобой, тебе будет интересно и мне. Это и будет наше общение. А там, гля-

дишь, и любовь наша с тобой вернется. Ведь что такое любовь? Это – когда интересно вдвоем, когда появляется цель и смысл совместной жизни.

Замолчала...

Лежим, молчим...

– Подвисься, – говорит, – я разденусь. А то мне жарко в одежде.

Ну я подвинулся, она разделась, лежим с ней под одеялом... начал я ей тут про себя рассказывать, про то, как в школе учился, как меня потом в армию забрали, как в институт собрался поступать...

Чувствую, что-то тянет, и главное – сильно так всего прямо тянет, а перед глазами она стоит – голая совсем, красивая, ножки ее стройные, загорелые да и вообще все остальное... и главное, все ведь это рядом, тут, стоит только руку протянуть... тут вдруг она взяла и слегка так меня обняла, – ну совершенно невозможно сосредоточиться! мысли что-то все в разные стороны разбежались...

– Рая, – говорю, – но ведь так же нельзя! Ведь мы с тобой договорились, кажется.

– О чем? – спрашивает.

– Ну как, – говорю, – о чем. О том, что там между нами не будет ничего!

– А между нами разве что-нибудь есть?

– Нет, – говорю, – пока еще, но пойми: я же ведь тоже живой человек. Ты рядом лежишь, можно сказать, без ничего. Меня же ведь тянет к тебе!

– Ах, ты, – говорит, – нежный какой! – и еще плотнее ко мне прижалась, гладит и гладит меня рукой, так что даже мурашки по всему телу бегают. И лукавым таким голоском:

– А между нами, – спрашивает, – никогда уже ничего не будет?

Вот, думаю, черт! ну как же быть-то? ведь так я не удержусь, а надо держаться, если она этого не может, так хотя бы я должен силу проявить, я же ведь все-таки мужчина! она же ведь сама меня потом благодарить будет, когда, так сказать...

Вырвался у нее из рук, сел на диване...

– Рая, – говорю, – я что-то тебя не понимаю. То, видите ли, я ее не люблю, скандал тут целый устроила, уходит даже собралась неизвестно куда, то вдруг давай – люби ее скорей! Когда уже, так сказать, договорились, кажется, о том, что, мол-де там, между нами не будет ничего. Как все это объяснить?

Молчит...

– Ну что ж ты, – спрашиваю, – молчишь-то? Скажи хоть что-нибудь?

Молчит, только дышит тихонько...

– Ну, хорошо, – говорю, – лег рядом с ней, – продолжать, что ли, – спрашиваю, – рассказывать-то?

Она мне:

– Как хочешь, – говорит.

– Глупая ты, – объясняю. – Пойми, я же ведь для тебя стараюсь, я-то, – говорю, – и так могу в этом мире жить, он же ведь мой!

– Ну вот, – говорит, – и живи тогда в этом своем мире. А от меня – отстань. Что ты ко мне пристал?

И отвернулась от меня к стене.

– Посмотрим, – говорит, – как ты еще в нем проживешь!

– А что ты думаешь, – говорю, – не проживу, что ли? Еще как проживу! Зато ты – о том, что у меня там, внутри – ничего и не узнаешь!

– Не больно-то, – говорит, – и хотелось! Ты думаешь, что ты один, что ли, на свете умный такой? Что у тебя одного, что ли, в жизни такое бывало? Не волнуйся, я и сама тебе, если надо, такого понараскажу! Закачаешься! Советую придумать что-нибудь поинтересней...

– Не интересно ей, видите ли! Да знаешь ли ты, – говорю, – что любая другая женщина на твоём месте за счастье бы считала, что я ее, можно сказать, с собой взял и на дорогу вывел. Цель и смысл жизни ей указал! Ведь ты же, глупая, – объясняю, – и не понимаешь того, что я тут сейчас открыл, того, что я сейчас про жизнь совместную понял. До этого ведь, может, никто из людей и не додумался еще!

– Ой, ой, – говорит, – умный какой! Я прямо не могу! Держите меня, – и засмеялась.

– А что ты думаешь, – говорю.

А она:

– Ну вот, – говорит, – и ищи тогда себе эту, другую. А от меня – отстань! Что ты тут со мной лежишь? Иди вон к себе на раскладушку.

– Почему же это, – говорю, – я должен на раскладушку-то идти.

А она злым таким голосом:

– Уйдешь ты, от меня, наконец?!

Вот, думаю, ненормальная, связался с ней, опять еще, не дай бог, драться начнет... встал с дивана.

– Не волнуйся, – говорю, – уйду, уйду, ты думаешь, что ты мне нужна, что ли, очень? Удерживал ее еще зачем-то!..

И лег на раскладушку...

А она:

– Вот уж, – говорит, – не думала, что с таким идиотом общаться придется.

– Ну да, – говорю, – конечно, я, может, и идиот, но то, что ты дура, я в этом уже не сомневаюсь!

Замолчали...

Лежим, молчим. И времени уже довольно много прошло. Чувствую, она что-то там притихла на диване... Все-таки, думаю, нехорошо как-то все это вышло, неловко... она, правда,

если честно сказать, тоже хороша! злая какая-то, ругается, дерется, хотя, конечно, с другой стороны, ведь тоже можно понять человека, – она, наверное, хотела, чтобы я ее приласкал, приголубил, утешил как-то, а я ее взял, да и побил... да еще и душой потом назвал... вот, думаю, черт.. ну как же быть-то? Что ж теперь делать-то? прощения, что ли, у нее попросить, а?

– Рая, – спрашиваю, – ты еще не спишь?

Молчит, только дышит тихонько.

– Ты, – говорю, – прости меня за то, что тут тебе наговорил, да и вообще... Злость, – говорю, – какая-то нападает, когда тебя не понимаю. Да и потом, действительно, может, я как-то уж слишком резко в крайности-то бросаюсь?.. Ну, насчет того, что мол-де между нами не будет ничего, а? Зачем же уж так спешить? А? Ну, хочешь, – говорю, – мы с тобой вместе лечь можем, а, Рая?..

Молчит, не отвечает.

– Ну, хочешь, – говорю, – я к тебе лечь могу.

Молчит, никак не реагирует.

Встал с раскладушки, забрался к ней под одеяло, она лежит лицом к стене, а я ее за плечи обнял.

– Рая, – говорю, – Раечка, милая, родная, – поцеловал ее в плечо.

Тут вдруг она повернулась ко мне и усталым таким голоском:

– Ну что, – говорит, – тебе еще от меня нужно?

– Да ничего, – говорю, – Рая, ничего. Я просто... Я, – говорю, – насчет того, что мол-де там...

– Ты, – оборвала меня, – никогда еще у врача не был?

– У какого, – испугался, – врача?

– У психиатра. Не проверялся? Все ли у тебя дома?

– Зачем же, – говорю.

А она:

– Ну неужели ты, – говорит, – мог подумать, что после того, что тут между нами было, еще, что ли, что-нибудь может быть?

– Да я, – говорю, – Рая, ничего и не думал... Я вообще, так сказать... Да и потом, ведь ты же сама хотела...

– А ты, – спрашивает, – одолжение мне, что ли, делаешь? Тем, что спать со мной соглашаешься? Хотела, да вот теперь не хочу. Раньше нужно было думать...

И отвернулась от меня к стене.

– Да я, – говорю, – что, я ведь ничего... Я ведь и не настаиваю ни на чем...

– Ну, а зачем же ты, – говорит, – тогда сюда пришел?

– Да я, – говорю, – просто так, Рая, вообще, так сказать... Ведь можно же просто так. Вдвоем. Без ничего. Лежать просто, и все. Лежать, и все...

Повернулась ко мне:

– Ты знаешь, – говорит, – я, – говорит, – сегодня так устала,

не кажется ли тебе, что для меня слишком много за один день, а? Утро ведь вон уже, посмотри!

– Да я, – говорю, – Раечка, ничего. Я тут, на краешке. Диван-то у меня широкий. Я к тебе и не прикоснусь. Мне и одеяла-то почти и не нужно. Просто так, на краешке полежу, и все. Полежу, и все...

– Ну, – говорит, – как хочешь, это твое дело.

Отвернулась от меня к стене, устроилась на диване поудобнее, одеялом получше укрылась и спать приготовилась...

Лежим, молчим...

Слышу, она вроде задышала ровнее, засыпать, кажется, уже начала... ну, думаю, и хорошо, и слава богу... выспимся с ней как следует, а завтра, на свежую голову, я ей все это объясню, расскажу, да и она тоже – лучше меня понять сможет, не будет уже ругаться, злиться, конечно, ведь если так в крайности-то браться – не то что ее, кого угодно спугнуть можно, а завтра, на свежую голову...

Устроился на диване поудобнее и тоже ко сну приготовился. Лежу, чувствую, не спится мне что-то и все, – с одного бока на другой перевернулся, обратно, никак не могу заснуть... и главное, мысли какие-то дурацкие в голову лезут: а может, думаю, дотронуться до нее? слегка так, по спинке, например, погладить... да и вообще... может, она и не почувствует во сне? так, вроде бы, невзначай... нет, думаю, нехорошо... как будто мальчишка какой-нибудь исподтишка в щелочку подглядывает... надо спать... а внутри что-то такое как будто шепчет: а, может, все-таки дотронуться, а? может, она и не почувствует? а если, предположим, почувствует, может, сделает вид, что спит?

Тут вдруг она, во сне, видимо, повернулась и прижалась нечаянно ко мне... и главное, нежно так прижалась... и сразу хорошо так стало... тепло... приятно... руки сами так и тянутся к ней!

Вот, думаю, черт, нельзя!

Отвернулся от нее...

Во-первых, думаю, ее разбуду, тогда уж точно – скандала не миновать, все дело испорчу, а во-вторых, – сам всю ночь не засну, и завтра опять же ей ничего толком и объяснить-то не смогу, – лучше уж мне действительно на раскладушку уйти...

Встал тихонько с дивана и лег на раскладушку...

Просыпаюсь на следующий день, а на диване – никого... Вскочил, бросился на кухню и там – никого... и главное, ни вещей, ни записки не оставила... совсем, что ли, думаю, уже ушла? да нет, не может этого быть! должна же она хотя бы прийти или позвонить...

Сел ждать, целый день прождал – так и не пришла и не позвонила, и на другой день тоже, и на следующий... никого нет...

Что же, теперь, думаю, делать-то? Подошел к окну, а там –

хорошо, кругом зелень, солнышко светит, дома стоят, люди какие-то куда-то идут, женщины красивые...

Ну, думаю, и черт с тобой... женщин, что ли, на свете мало? вон их сколько по улице-то идет! – найду себе какую-нибудь такую, смуглую, темноволосую, с раскосыми глазами, все ей расскажу, объясню...

Тут вдруг звонок, телефон зазвонил, подхожу – в трубку женский голос:

– Здравствуйте!

– Здравствуйте! – говорю.

– Это с вами говорят из вендиспансера номер шесть. Вы не могли бы к ним сегодня зайти?

– Зачем?

– Нам с вами необходимо встретиться. Вы такую-то знаете?

И Раину фамилию называет...

ОБ АМЕРИКАНСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Америка – страна дураков.

Иначе говоря, Америка вообще и американская культура – грандиознейший в истории человечества эксперимент: что же, в конце концов, может сделать множество собравшихся вместе энергичных дураков? Умному человеку всегда надо держать в поле зрения Америку, чтобы знать, чем ему не стоит заниматься.

Блок говорил так: не надо называть искусством то, что называется иначе. Высказывание это остроумно, но туманно. Многие занудные исследователи пытались с парадного хода, с позитива определить искусство, его цели и функции. Истинный результат их работы – доказательство того, что такое позитивное определение невозможно. Какую бы ясно сформулированную функцию или цель вы не взяли в качестве основной, тут же строится опровергающий пример: не-искусство, исправно выполняющее указанную функцию и достигающее пресловутой цели. Среди таких не-искусств, играющих роль, навязанную дураками искусству, не последнее место занимает массовая культура. Ее признаки – увлекательность и эмоциональное воздействие, стало быть, настоящее искусство лишь косвенно связано с этими признаками. Массовая культура – явление по духу своему в основном американское.

Американская массовая культура рассчитана на американского потребителя. Его основные черты: ослабленное ассоциативное мышление, прямое не ироничное чувство юмора, расшатанная, чрезмерно податливая нервная система, малая способность к концентрации внимания, желание быть как все, отношение к потреблению искусства как к обыденной деловой операции, уверенность в американском образе жизни. (Для сравнения: черты советского потребителя под углом зрения того же списка: мощное ассоциативно-пародирующее мышление, ирония, доходящая до цинизма, крепкие нервы, внимание к мелочам, внутренне противоречивое желание быть как все и в то же время не как все, отношение к потреблению искусства как к потенциальному обману, уверенность в коичности советского образа жизни во всех его проявлениях, исключая самые главные). Сложно сказать, воспитала ли массовая культура массового потребителя культуры или, наоборот, подстроилась под него. Наверное, и то, и другое – образовался механизм обратной связи, устойчивая, самокорректирующаяся пара, стремящаяся к идеалу массового культурного обслуживания: идиот с синдро-

мом Дауна, сидящий перед экраном, на котором голую жопу расстреливают из новейшего четырехствольного пулемета. О голой жопе – особый разговор.

Как чайка стала символом Художественного театра, голая жопа – визитная карточка Голливуда. Сама незамысловатость этого агрегата выбивает почву из-под ног вульгарных пост-марксистских теоретиков искусства. В самом деле, о какой экономической базе, индустрии порно-проката может идти речь? упомянутая выше жопа и любительская кинокамера – вот все, что нужно для создания порнофильма средней руки. И если такие фильмы не приживаются в России, в этом нет вины контрабандистов-дипломатов или заслуги райкомов комсомола. Просто культуры устроены по-разному. Место порнофильма в российском фольклоре занимает скабресный анекдот. Отличие очевидно: фильм буквален, анекдот в основном – явление с подтекстом, порнофильмы в первую очередь похожи один на другой, анекдоты в некоторой степени патентно новы. Выслушивание анекдота гораздо больше способностей требует от потребителя, чем просмотр (американского) фильма. Давайте вернемся к свойствам простого американца и проследим за тем, как эти свойства выражаются в феномене массовой культуры.

1. Ослабленное ассоциативное мышление потребителя позволяет режиссеру (продюсеру, писателю, руководителю поп-группы) не бояться реакции зрителя (слушателя, читателя) типа: "Где-то я уже это видел (слышал, нюхал)". В самом деле, как же "это", если там на герое была красная рубашка, а здесь – голубая; если там за ним гнались восемнадцать бандитов, а тут – всего четырнадцать, если тот ансамбль стоял слева, а этот – справа. Отсюда – возможность тиражирования удачного бестселлера или шлагера путем "малых вариаций", киноактеры, похожие на более известных киноактеров, ансамбли типа "Модерн Токинг". Заметим, что не только "тело" потока, тираж не является искусством, но и то, что этот тираж порождает. И у Шекспира, и у "Битлз", конечно же, были ученики и эпигоны, но дистанция все же оставалась и остается чересчур большой, о копировании речь идти не может.

2. Чувство юмора среднего американца достигает уровня мертвого часа в пионерском лагере (исключая старшие группы). Отсюда – известная ностальгическая прелесть американского искусства, в первую очередь кино, – возможность вспомнить суетливое, голоногое детство еще до периода прыщей. Другой, не менее удивительный эффект американского фильма – он действительно смешон. Редкостно смешны угадываемые за экраном фигуры режиссера, сценариста и т.д. Если речь идет о комедии, поначалу даже возникает искуса посчитать авторов фильма умнейшими людьми, играющими роль кретинов и таким образом достигающими цели. Все встает на свои места после просмотра социального, психологического, остросюжетного

фильма, или фильма ужасов – они точно так же смешны, как комедии, и ровно по той же причине. Смехотворность – общее свойство массовой культуры, своеобразное прикосновение Мидаса, клеймо.

3. Чрезмерно податливая нервная система американца – явление, понятное наркологам. Оно, это явление, вызывает к жизни целые жанры массовой культуры: например, фильм (роман) ужасов. Нам с вами, товарищи, смешно – а им страшно. Конечно же, и у нас есть фильмы ужасов (с натяжкой – любой военный фильм, без натяжки – "Вий"), они много страшнее хваленых западных аналогов.

4. Малая способность к концентрации внимания, как всякий хилый спрос вызывает через гибкие двусторонние механизмы мира чистогана вялое предложение: ни в одном фильме ничего не происходит на периферии кадра, основной конфликт ясен, второй план, побочные линии и т.п. отсутствуют – необходимо сосредоточить потребителя на чем-то одном, а о большем не приходится и мечтать. Отсюда – "транспортное" свойство западной книжонки: можно читать ее и в то же время помнить, где ты едешь и скоро ли тебе выходить, да еще глухо, пассивно участвовать в разворачивающейся над ухом беседе. Чтение оригинального англоязычного текста, слава Богу, хотя бы сопряжено с продирированием сквозь язык, переводные поглощаются как арбузы. Во время просмотра фильма рекомендуется говорить о чем-либо, иначе время покажется потерянным.

5. Желание быть как все решает проблему положительного героя. У него весь героизм загнан в мышцы и борцовско-стрелково-автомобильные навыки, на этом и заканчивается его исключительность. Внутри – нечто среднее-среднее.

6. Отношение к потреблению искусства как к деловой операции чрезвычайно важно для понимания четкой жанровой структуры массовой культуры. Жанровый идентификатор – ярлык товара. Если "Двенадцать стульев" назвать детективом, то американский читатель будет старательно следить за конъюнктурой поисков Остапа и Кисы, сам составлять варианты, вычеркивать отыгранные ходы и т.п. Если назвать юмористическим романом, будет смеяться. Если бытописательским – вникать. Просто читать американец не приучен: как, простите, читать? зачем? для чего?

Система поиска и рекламы настолько важна в массовой культуре, что почти способна ее заменить. Десять минут рекламы фильма почти исчерпывают сам фильм. В этом "почти" заключен намек на чисто количественное отличие. Количество (по времени, количеству опять же трупов и голых жоп, децибеллам шумового фона) принятого фильма – опять же понятие медицинское, наркологическое.

7. Уверенность в американском образе жизни проявляется в некой метафизической сытости, пронизывающей даже самый,

казалось бы, антиамериканский фильм. Дело в том, что поправленную американскую справедливость восстанавливают обычно те же стопроцентные американцы. Это все равно, что пытаться очистить запачканную мелом доску не мокрой тряпкой, а зачеркивая записи тем же мелом. Мела становится на доске не меньше, а больше.

Третий закон Ньютона: действие равно противодействию. В практике существования культуры этот закон модифицируется до такого компромиссного уровня: действие вызывает противодействие. Этаким экзистенциальный рвотный рефлекс.

Географически в Америке и около прописана не только массовая культура, но и антиамериканская по сути культурная ветвь. Это – Воннегут, Поллак, еще несколько фамилий – тут уж точно дело не в количестве. Есть несколько (не гегелевских) степеней отрицания: сперва идет ненависть – колоссальный антияр, потом – тот же заряд, но пережженный уже, в концентрате, зрячий, когда достаточно умелого щелчка, чтобы соперник рассыпался в труху, холодная такая ненависть, отчужденность. Третья степень отрицания – забвение при жизни. Она кажется простой и легко, в обход первых двух, достижимой – но недомыслие не должно заменять забвение, это профанация. Надо крепко запомнить, чтобы потом правильно забыть. Это все очень русские проблемы, в приложении же к Америке скажем так: ни один еще американец не дошел до третьей степени отрицания маленькой америки в себе, да, может быть, это и не нужно. Первая же степень: серьезная, на равных к сопернику, ненависть – невозможна, не обоснована. Нельзя всерьез ненавидеть массовую культуру. Иначе говоря, серьезная борьба с клиническим идиотизмом – форма клинического идиотизма. Поэтому самая антиамериканская культура насквозь иронична и очень точна: она находится на второй степени отрицания культуры массовой.

Горючее дает энергию. Все равно, чем было горючее (количество компенсирует качество) – динозавром, дубом, дерьмом, движущимся электроном. Американское и русское бытие, жизнь сверхдержав дает достаточно горючего отдельной личности. Адепты массовой культуры так же раскручивают истинную культуру, как у нас ее раскрутил пресловутый культ Сталина или вековая ложь. Синтаксис полуграмотных комиссаров становится синтаксисом "Котлована" Платонова. Именно в этом смысле феномен массовой культуры заслуживает пристального изучения – как элемент жизни, а не как часть культуры как таковой.

Америка – страна дураков, где созданы интересные условия для умного человека.

Александр МИХАЙЛОВ:

В этом номере нет произведений, претендующих на всенародное признание... Перед вами проза и поэзия для гурманов... Читатель должен получать от литературы не инфаркт, а удовольствие.

Александр ШАРЫПОВ:

– Садись, покури, Прокопыч, – сказал Миша Чучин, протягивая ладонь. Он сидел в такой позе, будто справлял большую нужду, и, свесив руки, курил.

Иван АХМЕТЬЕВ:

под взглядом испытателя упорным
разладился вселенский механизм

Аркадий БАРТОВ:

Дуло из приоткрытого окна. Во дворе неистово и дребезжаще лаяла собака. А над двором высоко в небе стояла желто-красная звезда Корнефос из созвездия Геркулеса.

Евгений ЛАПУТИН:

...давай попробуем не согласиться с Бердяевым и самостоятельно отыскать истину, ну, давай, давай же! – орал, беснуясь, он мне на ухо, и, кажется откусил его... а Николай Александрович, задумчиво поглядывая на окошко, в котором уместилась самая соблазнительная, самая выпуклая часть свежей луны, продолжал аккуратнo писать: "Жизнь пола в этом мире дефектна и испорчена..."